

Розелла  
Посторино

# ДЕГУСТАТОРШИ



Эта книга о любви, голоде,  
выживании и муках совести надолго  
остается в сердце.

*Marie Claire*



Азбука-бестселлер

Розелла Посторино  
**Дегустаторши**

«Азбука-Аттикус»

2018

УДК 821.131.1  
ББК 84(4Ита)-44

## **Посторино Р.**

Дегустаторши / Р. Посторино — «Азбука-Аттикус»,  
2018 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-16747-6

Впервые на русском – международный бестселлер итальянской писательницы Розеллы Посторино, лауреата самых престижных литературных наград Италии, таких как Strega, Campiello и Un autore l'Europa – в том числе за данную книгу. Роман этот основывается на реальной истории – на интервью, которое дала в 2012 году 95-летняя Марго Вёльк, единственная пережившая войну из пятнадцати девушек, которые в гитлеровской ставке Вольфшанце («Волчье логово») пробовали еду, предназначенную для фюрера: тот патологически боялся, что его могут отравить. Для уроженки Берлина Розы Зауэр (под таким именем выведена Марго Вёльк в романе), оказавшейся в Восточной Пруссии практически случайно, эта служба давала возможность впервые за годы войны вдоволь поесть, но ценой каждого обеда в любой момент могла стать смерть. Подобно «Чтецу» Бернхарда Шлинка, «Дегустаторши» – не столько об ужасах войны, сколько о страхе и выборе. О том, можно ли оставаться над схваткой, служа воплощению мирового зла. На что можно и на что нельзя пойти, чтобы сохранить надежду на будущую жизнь, на возвращение мужа с фронта?.. В 2018 году на юбилейной московской книжной ярмарке Non/Fiction, почетным гостем которой была Италия, Розелла Посторино представляла «Дегустаторш» на совместной презентации с Гузелью Яхиной – лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная поляна». «Меня не смущает, что „Дегустаторш“ сравнивают с „Чтецом“, – говорила Посторино, – наоборот, для меня это большая честь...»

УДК 821.131.1  
ББК 84(4Ита)-44

ISBN 978-5-389-16747-6

© Посторино Р., 2018  
© Азбука-Аттикус, 2018

# Содержание

Часть первая	10
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Розелла Посторино

## Дегустаторши

Rosella Postorino  
LE ASSAGGIATRICI

Copyright © 2018 Rosella Postorino All rights reserved

© А. С. Манухин, перевод, 2019  
© Издание на русском языке, оформление  
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019  
© Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

Настоящая фреска, нежная и берущая за душу... Эту историю следовало рассказать.

*La Stampa*

Темпераментный, увлекательный и эпический роман.

*Il Mattino*

Необычная и захватывающая история любви и дружбы.

*QN*

Узница поневоле и ее тяга к свободе – этот конфликт затягивает читателя с первой же страницы.

*Il Piccolo di Trieste*

За каждой строчкой книги видна жажда жизни, человечности...

*Il Gazzettino*

Не оторваться!

*Leggendaria*

В романе Розеллы Посторино сама История пускает под откос жизни людей, ее делающих. «Дегустаторши» останутся с читателем надолго.

*La Repubblica*

Эта книга о любви, голоде, выживании и муках совести надолго остается в сердце.

*Marie Claire*

Неотразимо и по-настоящему хорошо написано.

*huffingtonpost.it*

Сюжет, вне всякого сомнения убедительный и оригинальный, заставляет сопереживать героине, особенно в финале, обладающем огромной эмоциональной силой.

*Ciociaria Editoriale Oggi*

Невозможно рассказать о войне, не упомянув о голоде. Но есть нечто и похуже: знать, что каждая ложка еды, попавшей (по счастливой случайности) к тебе в тарелку, может стать для тебя последней.

*La Gazzetta di Parma*

Розелла Посторино рассказывает о жизни «дегустаторш», балансируя на тонкой грани между исторической реконструкцией и литературной фантазией.

*Gente*

Каково это – «одолжить» фюреру свой пищеварительный тракт? Каково быть подопытным кроликом, поедающим пищу, дабы предотвратить отравление главного чудовища в мировой истории? Каково утолять голод приготовленными для него деликатесами и думать, что, возможно, этот нежный вкус может стоить тебе собственной кожи? Весьма необычный, но совершенно неотразимый роман.

*Il Tempo*

Ясным и точным языком, буквально несколькими штрихами, Посторино мастерски обрисовывает портрет героини, которая надолго остается в памяти читателей.

*Blowup*

Посторино исследует самую глубину человеческой души, не ограничиваясь привычной борьбой добра со злом.

*Il Giornale di Vicenza*

Очень нужная и очень сильная книга, сравнимая с творчеством Примо Леви и другими лучшими образцами итальянской прозы.

*La Riviera*

Главная заслуга романа в том, что он представляет эпоху нацизма совершеннейшей антиутопией (налицо даже кое-какие отсылки к «Рассказу служанки» Маргарет Этвуд), которая в то же время непосредственно соприкасается с нашей сегодняшней реальностью.

*Il Manifesto / Alias*

Лучший итальянский роман 2018 года.

*fanpage.it*

Роман, захватывающий, как чудесный фильм.

*Vanity Fair*

Как и все лучшие авторы, Посторино ничего не разжевывает. Но читайте между строк, умные и чуткие...

*Di Repubblica*

Метафора пищи как спасения и в то же время ловушки, изоляция физическая и экзистенциальная, страсть как бегство от реальности и как проклятие – и на этом фоне рассказывается история жизни нескольких девушек, чьи мечты и надежды попали под безжалостный маховик Истории.

*Il Piccolo di Trieste*

Роман, исследующий человеческую душу до самых ее глубин.  
*illibraio.it*

Посторино восстанавливает повседневную деревенскую жизнь с ее непривычными, но в целом приемлемыми правилами. Здесь есть «бесноватые», готовые отдать за Гитлера жизнь, есть наивная Лени, жертва скорее любви, чем нацизма, есть загадочная Эльфрида, есть Беата, гадающая на картах Таро, и матери, которым нечем кормить детей...  
*Il Corriere della Sera*

Вдохновленная реальной историей Марго Вёльк, Розелла Посторино демонстрирует нам женщину, попавшую в ловушку. Дегустаторша слишком слаба, чтобы противостоять Истории, но достаточно сильна, чтобы не сдерживать порывов юности.  
*Tutto Libri*

Шедевр... Уникальная история, в которой каждый читатель увидит свое отражение.  
*L'Unione Sarda*

Едва погружаешься в этот роман, в горле встает ком, и до самой последней, великолепной главы не отпускает чувство внутреннего узнавания.  
*Io Donna*

Захватывающий роман. Розелла Посторино умеет минимумом средств передать стыд и чувство вины, любовь и раскаяние... Мы явно еще не раз услышим ее голос.  
*The New York Times*

Яркая, напряженная историческая проза... этот роман на глазах становится всемирным бестселлером.  
*Spectrum*

Совершенно потрясающая книга.  
*France 2TV*

Розелла Посторино написала роман невероятной эмоциональной силы, нечто среднее между «Большой жратвой» и «Ночным портье».  
*Le Figaro*

Превосходный стиль, особенно хорошо передана атмосфера. Живот сводит от ужаса при мысли о том, что каждый съеденный Розой кусочек может стать последним. Несмотря на напряженный сюжет, Посторино сумела наполнить книгу нежностью, в то же время избегая морализаторства. Этот роман, основанный на реальной судьбе, читается запоем.  
*Le Parisien*

К чему ты готов приспособиться, чтобы выжить? На что способен закрыть глаза, какие ужасы в силах вытерпеть? С невероятным изяществом и сарказмом, глубиной и чувственностью Розелла Посторино показывает,



насколько размыты границы между нежностью и насилием, любовью и ненавистью. Между той рукой, что ласкает, и той, что убивает.

*L'Or des Livres*

«Дегустаторши» мастерски демонстрируют читателю, как работает инстинкт самосохранения, овладевающий каждым человеком на краю пропасти, в какие запутанные лабиринты страстей увлекает.

*La Presse*

*...и прочно забывают,  
Что сами носят звание людей.*

***Бертольт Брехт. Трехгрошовая опера<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Перев. С. Апта.

## Часть первая

### 1

Нас впускали по одной. После нескольких часов ожидания, проведенных на ногах в коридоре, хотелось уже только сесть. Обеденный зал оказался огромным, с белыми стенами. Посередине располагался длинный деревянный стол, накрытый специально для нас. Каждую подвели к отведенному ей месту.

Усевшись, я скрестила руки на животе и больше не двигалась. Белая фарфоровая тарелка стояла прямо передо мной. Я была голодна.

Остальные молча рассаживались по своим стульям. Нас было десять. Более уверенные в себе – суровый взгляд, волосы собраны в тугий пучок – смотрели прямо перед собой, другие нервно озирались. Девушка напротив меня прикусила губу, оторвала кусочек кожи и быстро перетерла его резцами. Ее пухлые щеки горели румянцем. Она тоже была голодна.

К одиннадцати утра есть хотели уже все. И дело вовсе не в чистом деревенском воздухе и не в долгой поездке на автобусе: бездонную дыру в желудках проделал страх. Страх и голод, нами уже несколько лет двигали только страх и голод. Стоило почуять запах еды, как кровь прилила к вискам, а рот непроизвольно наполнился слюной. Я снова взглянула на девушку с румянцем во всю щеку: она горела тем же желанием, что и я.

Стручковая фасоль тонула в топленом масле – я не пробовала его со дня свадьбы, – ноздри щипал терпкий аромат поджаренных перцев. Моя тарелка наполнялась, а я лишь глядела на нее, боясь пошевелиться. Девушке напротив меня достался рис с горошком.

«Ешьте», – донеслось из угла комнаты: скорее приглашение, чем приказ. Конечно, наши горящие глаза, приоткрытые рты и учащенное дыхание было трудно не заметить. И все же мы колебались: приступать или дожидаться пожеланий приятного аппетита? И потом, вдруг еще есть возможность подняться и заявить: «Нет, спасибо, куры нынче щедро несутся, мне и яичка хватит».

Я снова пересчитала сидящих за столом: десять. Ну, хотя бы не тайная вечеря.

«Ешьте!» – повторили из угла, но я уже втянула стручок в рот и почувствовала, как по всему телу, до самых корней волос, до пальцев ног, растекается теплая волна, как постепенно замедляется сердцебиение... Ты приготовил предо мною трапезу<sup>2</sup> (о, до чего хороши эти перцы!), трапезу именно для меня, прямо на деревянном столе, даже без скатерти: только безупречно белый фарфор и десять женщин. Еще бы платки на головы – и ни дать ни взять сестры-молчальницы в рефектории.

Сначала мы берем по кусочку, словно не обязаны доедать все до последней крошки, словно можем отказаться, словно этот роскошный обед предназначен вовсе не для нас: мы случайно проходили мимо и так же случайно удостоились чести присутствовать за столом. Но потом еда проскальзывает через пищевод, падает сквозь дыру в желудок, чем дальше, тем дыра шире – и тем быстрее мелькают вилки. Яблочный штрудель так хорош, что у меня выступают слезы. Он вкусный, безумно вкусный, и я, давась, запикиваю в рот все более широкие ломти, один за другим, едва успевая поднять голову от тарелки и перевести дыхание. А враги смотрят.

---

<sup>2</sup> «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих...» (Пс. 22). – *Здесь и далее примеч. перев.*

Мама говорила, что есть – значит бороться со смертью. Причем говорила это задолго до Гитлера, еще когда я ходила в начальную школу на берлинской Браунштайнгассе, 10, а никакого Гитлера и в помине не было. Поправляла мне бант на фартуке, вручала портфель и напоминала за обедом: надо следить за собой и стараться не подавиться. Дома я обычно говорила с набитым ртом. «Слишком много болтаешь», – напоминала она, и я, конечно, тут же давилась, но только от смеха, не в силах выносить этот трагический тон, да и весь ее педагогический метод, основанный на угрозе безвременной гибели. Послушать ее, так любое движение подвигает нас смертельной опасности. Жизнь – это риск: ловушки подстерегают на каждом шагу.

Когда мы покончили с едой, к столу приблизились двое в форме СС. Женщина слева от меня поднялась.

– Сидеть! Всем оставаться на местах!

Женщина как подкошенная рухнула обратно на стул, хотя никто ее даже пальцем не тронул. Одна из закрученных улиткой кос выбилась из-под шпильки и закачалась, как маятник.

– Вставать запрещено. Вы останетесь за столом до дальнейших распоряжений. И чтобы тихо! Если еда отравлена, яд распространится быстро. – Эсэсовцы обвели нас взглядом, чтобы проверить реакцию, но никто не издал ни звука. Потом говоривший снова повернулся к женщине, которая осмелилась подняться, – возможно, в знак уважения к ее дирндлю<sup>3</sup>. – Спокойно, это всего час, – сказал он. – Через час все будут свободны.

– Или мертвы, – добавил его напарник.

Я почувствовала, что сердце сжалось в груди. Румяная девушка закрыла лицо ладонями, пытаясь подавить рыдания. «Прекрати сейчас же», – прошипела ее соседка-брюнетка. Тут и остальные пустили слезу, будто наевшиеся крокодилы: может, так подействовал пищеварительный процесс?

Я прошептала: «Можно узнать, как тебя зовут?» – но румяная, похоже, не понимала, о чем я спрашиваю. Тогда я протянула руку и коснулась ее запястья. Вздвогнув, она бессмысленно глянула на меня красными от полопавшихся сосудов глазами.

– Как тебя зовут? – повторила я.

Девушка взглянула в тот страшный угол, не понимая, можно ли говорить, но охранники как раз отвернулись: было около полудня, и у них, должно быть, тоже посасывало под ложечкой. А может, им просто не было до нее дела. Поняв это, она осмелилась вопросительно проворковать:

– Лени, Лени Винтер, – словно не была уверена, что это ее имя.

– Прекрасно, Лени, а я – Роза, – сказала я. – Вот увидишь, скоро мы вернемся домой.

Лени, на вид совсем девчонка, судорожно сжимала пухлые кулачки. Судя по лицу, ее ни разу не лапали в сарае, даже под конец сбора урожая, когда парням совсем нечем заняться.

В 1938 году, после отъезда моего брата Франца, Грегор привез меня сюда, в Гросс-Парч, чтобы познакомить с родителями. «Они тебя непременно полюбят», – заявлял он, гордясь победой над своей молоденькой секретаршей родом аж из Берлина. Мы были помолвлены – совсем как в кино.

До чего же приятно было ехать на восток в коляске мотоцикла! «Скачут кони на восток» – так ведь пелось в той песне? Самые отъявленные горлопаны оралы ее не только двадцатого апреля: для них каждый день был днем рождения Гитлера.

Я впервые плыла на пароме и впервые уезжала из дома с мужчиной. Герта поселила меня в комнате сына, а его самого отправила спать на чердак. Когда родители ушли спать, Грегор тихонько открыл дверь и забрался ко мне под одеяло. «Нет, – прошептала я, – не здесь». –

---

<sup>3</sup> Традиционный женский наряд альпийских регионов Германии, Австрии и Швейцарии.

«Тогда пошли в сарай». У меня даже в глазах помутилось. «Что ты, не могу! А если твоя мать заметит?»

Мы еще ни разу не занимались любовью. Я еще ни разу не делала этого ни с кем.

Грегор мягко провел рукой по моим губам, обведя их по краю, потом стал давить, все сильнее и сильнее, пока я не приоткрыла рот и не разжала челюсти, впустив два его пальца. Чувствуя, как они трутся об мой язык, я поняла, что могу сомкнуть зубы и укусить его. А вот Грегор об этом даже не подумал: он всегда мне доверял.

Ночью, не в силах больше сопротивляться желанию, я поднялась на чердак и открыла дверь. Грегор спал. Я прижалась к нему губами, чтобы наше дыхание смешалось, и он проснулся. «Хотела узнать, чем я пахну, когда сплю?» – улыбнулся он. Я сунула ему в рот палец, потом два, три, почувствовав, как расходятся челюсти, как смачивает подушечки слюна. Символ настоящей любви: рот, который не кусает. А если укусит, то лишь предательски, как собака, бросающаяся на хозяина.

Когда на обратном пути он обнимал меня за шею, на мне были алые коралловые бусы. И случилось все не на сеновале его родителей, а в каюте без иллюминатора.

– Мне нужно выйти, – пробормотала Лени; но расслышала ее только я.

Соседка-брюнетка с торчащими скулами и прилизанными волосами бросила на девушку суровый взгляд.

– Тсс, – шепнула я, погладив Лени по руке; на этот раз она даже не вздрогнула. – Осталось всего минут двадцать, почти закончили.

– Но мне нужно выйти, – настаивала она.

– Заткнулась бы ты, а? – скосив глаза, огрызнулась брюнетка.

– А ты-то куда лезешь? – почти выкрикнула я.

Эсэсовец обернулся:

– Что такое?

За ним обернулись и остальные.

– Пожалуйста... – начала Лени.

Эсэсовец стоял прямо передо мной. Лени подняла руку, как в школе, и принялась что-то шептать ему на ухо – я не слышала, что именно, но лицо охранника скривилось, превратившись в уродливую маску.

– Ей плохо? – спросил второй.

– Яд! – снова встала женщина в дирндле.

Остальные тоже повскакивали с мест. Лени зажала рот рукой, и, едва эсэсовец отошел, ее стошнило прямо на пол.

Охранники выбежали из зала, громко требуя привести и допросить повара: похоже, фюрер оказался прав и англичане действительно хотели его отравить. В зале обнимались, кто-то рыдал, уткнувшись в стену. Брюнетка, уперев руки в боки, вышагивала взад-вперед и странно хлопала носом. Подойдя к Лени, я положила руку ей на лоб.

Большинство женщин держались за животы, но вовсе не из-за колик: в кои-то веки они не испытывали голода и это было крайне непривычно.

Нас не выпускали еще добрый час. Пол протерли газетами и мокрой тряпкой, но он все равно вонял чем-то кислым. Лени не умерла, хотя ее долго била крупная дрожь. Потом она заснула, опершись щекой на руку, как школьница, и вложив свою пухлую ладошку в мою. Я чувствовала бурление в желудке, но слишком устала, чтобы поднимать шум.

Грегора призвали в армию. Он не был нацистом – мы вообще старались не иметь дел с нацистами. В юности я даже не захотела вступать в «Союз немецких девушек», уж очень мне не нравились черные галстуки, которые они заправляли под воротники белых блузок. Впрочем, я никогда не была хорошей немкой.

Когда суматоха, всколыхнувшая тусклую муть нашего затянувшегося пищеварения, улеглась, надзирательницы разбудили Лени и выстроили всех вдоль автобуса, который должен был отвезти нас домой. Желудок перестал возмущаться и принялся за работу. Мое тело поглощало пищу фюрера, пища фюрера проникала в мою кровь. Гитлер был спасен. А я снова проголодалась.

## 2

В тот день в обеденном зале с белыми стенами я стала дегустаторшей Гитлера.

Это случилось осенью 1943-го. Мне было двадцать шесть, и я пятьдесят часов провела в пути, преодолев за это время семьсот километров: рванула из Берлина в Восточную Пруссию, в то место, где родился Грегор, вот только Грегора там не оказалось. Так, убегая от войны, я и попала в Гросс-Парч, надеясь, что это всего на неделю, не больше.

Днем раньше они без предупреждения приехали в дом моих свекров и объявили, что ищут Розу Зауэр. Я их не заметила: была на заднем дворе. Не слышала даже пыхтения грузовичка, остановившегося у самого дома, увидела только, как гурьбой, расталкивая друг друга, бросились к курятнику несущки.

– Это по твою душу, – сказала Герта.

– Кто?

Она отвернулась, не ответив. Я позвала Мурлыку, но тот не пришел: будучи светским котом, он с утра отправился гулять по деревне. Тогда я пожала плечами и вошла в дом следом за Гертой, размышляя, кто додумался искать меня здесь: никто не знал, что я приехала. Боже, неужели Грегор? «Что, муж вернулся?» – спросила я, но Герта была уже в дверях кухни, перекрыв свет своей широкой спиной. Йозеф, согнувшись, стоял рядом с ней, его вытянутые руки упирались в столешницу.

– Хайль Гитлер! – донеслось из темноты, и две размытые фигуры вскинули в мою сторону правые руки.

Переступив порог, я тоже подняла руку. В кухне ждали двое в серо-зеленой форме, их лица теперь были освещены.

– Роза Зауэр? – спросил один; я кивнула. – Фюрер нуждается в ваших услугах.

Я ведь его, фюрера, в глаза не видела. И вот пожалуйста, он во мне нуждается.

Герта принялась вытирать руки фартуком, а эсэсовец продолжал говорить. Он повернул голову и смотрел теперь только на меня, смотрел оценивающе, пытаясь понять, здорова ли я, достаточно ли крепка. Разумеется, несколько ослаблена голодом, видны следы бессонницы из-за ночных сирен, глаза чуть ввалились: наверняка потеряла многое и многих. Впрочем, лицо сохранило округлость, волосы густые и светлые: типичная молодая арийка, уже смирившаяся с тяготами войны, проверенная – стопроцентный национальный продукт. В общем, идеальный вариант: так, видимо, решил эсэсовец. Он направился к двери.

– Могу я вам что-нибудь предложить? – вскинулась Герта. Непростительная задержка: сразу видно – деревенщина, не знает, как принимают важных гостей. Йозеф наконец выпрямился.

– Выезжаем завтра в восемь, готовьтесь, – сказал молчавший до сих пор второй эсэсовец и тоже вышел.

Похоже, «шуцштаффель» не склонны разводить лишние церемонии. А может, просто не любят желудевый кофе – хотя, возможно, в подвале нашлась бы и бутылочка вина, ждущая возвращения Грегора. Как бы то ни было, факт налицо: приглашения Герты они не приняли, каким бы запоздалым оно ни было. Наверное, это сила воли помогла им бороться с пороками

и искушениями, ослабляющими тело: вон как руки вскидывали, когда кричали «Хайль Гитлер» – и ведь указывали при этом на меня!

Когда грузовичок отъехал, я выглянула в окно, и следы колес на гравии показались мне строчками приговора. Я бросилась к другому окну, в другую комнату, заметалась по дому в поисках воздуха, в поисках выхода. Герта с Йозефом следовали за мной. Пожалуйста, дайте мне подумать! Дайте мне хотя бы вздохнуть!

Это староста назвал мое имя, сказали эсэсовцы. Он всех знает, этот деревенский староста, даже новоприбывших.

– Должен же быть какой-то способ, – бормотал Йозеф, дергая себя за бороду и собирая ее в кулак, словно в ней и заключалось решение.

Работать на Гитлера, пожертвовать ради него жизнью – разве не так делали все немцы? Но мне-то предстояло проглотить отравленную пищу и умереть без единого выстрела или взрыва бомбы, Йозеф не мог этого принять. Смерть под сурдинку, за кулисами – это для крыс, не для героев. Впрочем, женщины редко умирают как герои.

– Мне нужно уходить.

Я прижалась лбом к стеклу и попыталась дышать глубоко и размеренно, но вскоре почувствовала боль в давным-давно сломанной ключице. Поменяла окно – на это раз боль под ребрами, совсем не могу выдохнуть.

– Приехала сюда поправить здоровье – и чего ради? Чтобы отравиться и помереть? – горько рассмеялась я в лицо свекрам, как будто именно они привели ко мне эсэсовцев.

– Тебе надо спрятаться, – выдохнул Йозеф, – укрыться где-нибудь.

– Может, в лесу? – предложила Герта.

– Где в лесу-то? И что там делать? Сдохнуть от голода и холода?

– Будем носить тебе еду.

– Ясное дело, – подтвердил Йозеф, – мы ведь тебя не бросим.

– А если меня станут искать?

Герта взглянула на мужа:

– Как думаешь, станут ее искать?

– Да уж, рады не будут, это точно... – запнулся Йозеф.

Еще даже не призвана, а уже дезертирую! Вот ведь смех, а?

– Но ты ведь можешь вернуться в Берлин.

– Да, точно, поезжай домой, – подхватила Герта, – не бросятся же они в погоню.

– У меня больше нет дома в Берлине, иначе я бы в жизни сюда не приехала!

Герта поджала губы: одной фразой я вмиг перечеркнула всю приязнь, что мы испытывали друг к другу, будучи, по сути, малознакомыми людьми.

– Прости, я не хотела...

– А, забудь, – отмахнулась она.

Проявив неуважение, я, как ни странно, открыла путь к взаимному доверию, почувствовала ее тепло, ее близость. Мне вдруг ужасно захотелось, чтобы она обняла меня, прижала к себе, окружила заботой до конца моих дней.

– А как же вы? – выдавила я наконец. – Если они меня не найдут, что будет с вами?

– Да уж справимся как-нибудь, – буркнула Герта и отвернулась.

– Ну, что будешь делать? – поинтересовался Йозеф, бросив наконец терзать бороду: решения там явно не было.

И я предпочла умереть на чужбине, а не в родном городе, где не осталось ничего, что меня с ним связывало.

На следующий день после первого сеанса пробования пищи я поднялась спозаранку. Заслышав петуха, все лягушки в округе разом перестали квакать, словно уснули в один миг.

А я, всю ночь промаявшись без сна, чувствовала себя ужасно одинокой. В оконном стекле отразились два ввалившихся глаза, и я сразу узнала себя. Бессонница и тяготы войны были ни при чем: огромные темные круги всегда красовались у меня на лице. Мать говорила: «Бросай уже свои книжки, вон до чего они тебя довели». «Это же не от дефицита железа, правда, доктор?» – беспокоился отец, а брат просто терся о меня лбом: касание моей мягкой, как шелк, кожи помогало ему заснуть. И теперь, увидев отражение знакомых с детства кругов под глазами, я приняла его за доброе предзнаменование.

Мурлыка дремал у курятника с таким видом, будто лично отвечал за безопасность кур. С другой стороны, не мог же он оставить дам – в этом отношении Мурлыка был до странности старомоден и прекрасно это сознавал. А вот Грегор променял меня на войну: решил побыть хорошим немцем, а не хорошим мужем.

Впервые пригласив меня на свидание, он предложил встретиться у кафе возле собора, но опоздал, и нам пришлось сесть за уличный столик. Несмотря на яркое солнце, уже подмораживало. Я была так очарована, что угадывала в птичьем гомоне знакомые мелодии, а в их полете – танец, исполненный специально для меня. Мы наконец-то были вместе, мы были влюблены, и эта любовь оказалась именно такой, какую я ждала с самого детства. Один из пернатых отделился от стаи; одинокий, гордый, он клевал что-то у самой воды, почти ныряя в Шпрее, потом взмахнул крыльями, взлетел, подняв рябь, и сразу вернулся назад: внезапная попытка побега, бездумный жест – признак опьяняющей эйфории. Я и сама чувствовала зуд в ногах от точно такой же эйфории, испытываемой впервые. Мой начальник, молодой инженер, сидит рядом со мной в баре: какое же это счастье!

Я заказала яблочный пирог, но даже не попробовала его. Грегор вскинул брови: «Не нравится?» Я рассмеялась: «Пока не знаю», пододвинула к нему блюдце, приглашая попробовать, и, когда увидела, как он глотает, по привычке наскоро прожевав, тоже захотела пирога. Отломала кусочек, потом еще один, и в итоге мы принялись есть из одной тарелки, болтая о всякой чепухе и стараясь не глядеть друг на друга, словно стеснялись этой близости, но в конце концов столкнулись вилками – и тотчас же замолчали, подняв глаза. Мы еще долго смотрели друг на друга, а птицы все кружили, потом устало расселись по ветвям деревьев, балюстрадам и уличным фонарям, неизвестно зачем развернувшись клювами к реке: может, собирались утопиться, чтобы никогда больше не видеть света. И Грегор нарочно зажал мою вилку своей – как будто стиснул меня в объятиях.

Герта вышла за яйцами позже обычного: наверное, тоже провела бессонную ночь и поутру не смогла проснуться. Меня она нашла на ржавом железном стуле, с Мурлыкой на коленях и села рядом, забыв о завтраке.

Скрипнула дверь.

– Они уже здесь? – вздрогнула Герта.

Прислонившийся к косяку Йозеф отрицательно покачал головой.

– Яйца, – сказал он, указывая в сторону двора. Мурлыка вальяжно двинулся за ним, и без его тепла я сразу замерзла.

Заря постепенно отступала, как набежавшая на берег волна, обнажая бледное, бескровное утреннее небо. Закудахтали куры, зачирикали воробьи, даже пчелы, почуяв наступление нового дня, жужжали было вокруг моей головы, но визг тормозов спугнул их.

– Роза Зауэр, встать! – послышался окрик.

Мы с Гертой вскочили. Прибежал Йозеф с яйцами в руках, не заметив, что сдавил их слишком сильно. Теперь ему оставалось лишь смотреть, как текут между пальцами вязкие ярко-оранжевые ручейки и беззвучно падают на землю крупные капли.

– Быстрее, Роза Зауэр! – кричал эсэсовец.

Герта подтолкнула меня в спину, и я двинулась вперед.

Да, я предпочла остаться здесь и дожидаться возвращения Грегора, потому что верила в скорый конец войны. Да, я предпочла быть сытой.

В автобусе, быстро оглядевшись, я заняла первое же свободное место, поодаль от остальных женщин. Их было четыре: две сидели рядом, две другие поодиночке. Я так и не поняла, как их зовут; я знала только имя Лени, но она еще не села в автобус.

На мое «доброе утро» никто не ответил. Сквозь пыльное стекло в крапинах дождя я в последний раз взглянула на свёкров: Герта махала мне с порога, забыв про свой артрит, Йозеф все сжимал в руках битые яйца. Потом я долго не сводила глаз с дома, с потемневшей, поросшей мхом черепицы над розоватой штукатуркой, с разбросанных по голой земле кустиков валерианы, пока все не исчезло за поворотом. Я видела это каждое утро – и все равно не могла наглядеться настолько, чтобы больше не сожалеть.

Ставка находилась под Растенбургом, километрах в трех от Гросс-Парча. Йозеф рассказывал, что, когда ее начали строить, местные никак не могли взять в толк, зачем здесь столько грузовиков. Советские военные самолеты так и не обнаружили ее: скрытая среди лесов, ставка не была видна с высоты. Но мы знали, что Гитлер жил там, что он спал неподалеку от нас и, возможно, летом тоже ворочался в постели, пытаясь прихлопнуть комаров, мешавших ему спать. А может, он, подобно нам, простым смертным, мучился от зуда и расчесывал по ночам покрасневшие укусы: как бы ни донимали нас потом островки и даже целые архипелаги волдырей, в глубине души мы ведь не хотим, чтобы они совсем исчезли, так приятно иногда скрести по ним ногтями.

Это место называли Вольфсшанце, «Волчье логово», а его самого прозвали Волком, и меньше всего мне хотелось, наподобие Красной Шапочки, оказаться у него в животе. Целый легион охотников жаждал его шкуры. Теперь, чтобы добраться до него, им придется сперва избавиться от меня.

### 3

Въехав в Краузендорф, автобус остановился у кирпичного здания – школы, превращенной в казарму. Колонной по одному, послушно, будто стадо коров, мы вошли в ворота. В коридоре нас остановили эсэсовцы и обыскали. До чего же мерзко чувствуешь себя, когда их руки задерживаются на бедрах, под мышками, – и понимаешь, что ничего не можешь сделать, разве что перестать дышать.

Нас вызывали по списку, мы откликались. Так я узнала, что брюнетку, которая набросилась на Лени, зовут Эльфрида Кун. Потом нас попарно загоняли в пропахшую спиртом комнату, а остальные ждали снаружи. Когда подошла моя очередь, я выложила руку на школьную парту, и человек в белом халате туго перевязал ее жгутом, больно щелкнув пальцем по коже. Анализ крови окончательно утвердил наш статус подопытных кроликов: если вчерашнее еще могло показаться проверкой, генеральной репетицией, то с этого момента нас окончательно приняли на службу.

Когда игла пронзила вену, я отвернулась. Эльфрида, сидевшая рядом, заворуженно наблюдала за шприцем, высасывавшим ее кровь: по мере заполнения он темнел, становясь из красного почти черным. А вот у меня при виде багровой жидкости, извлеченной из моего тела, сразу начинала кружиться голова. Наблюдая за тем, как прямо сидит Эльфрида – две оси координат, – и за ее безразличием к происходящему, я чувствовала в ней скрытую красоту, которую пока не видела: эту теорему мне еще предстояло доказать.

Я не успела сделать этого: изящный профиль обернулся суровым анфасом, глаза уставились на меня. Она раздувала ноздри, словно ей не хватало воздуха, и я открыла было рот, но только вздохнула, так ничего и не сказав.



– Так и держи, – буркнул парень в белом халате, прижав к моей коже ватный тампон. Я услышала, как хлопнул, распускаясь, жгут Эльфриды, как провизжал отодвигаемый стул, и тоже поднялась.

Подойдя к столу, я дождалась, пока остальные не сядут. По большей части они, как это обычно бывает, старались занять тот же стул, что и днем раньше. Свободным остался один – напротив Лени, с тех пор он стал моим.

После легкого перекуса (молоко и фрукты) нам подали обед. На моей тарелке лежал ворох тушеной спаржи. Со временем я поняла, что малопонятные комбинации разных блюд – еще один способ контроля.

Наколов кусочек на вилку, я принялась разглядывать обеденный зал – решетки на окнах, охранник у выхода во внутренний двор, голые стены без картин и декора, – как делала всегда, попадая в незнакомое место. Помню, в первый учебный день, когда мама ушла, оставив меня в школе, мне стало грустно от одной только мысли, что в ее отсутствие со мной может случиться что-то плохое. Но больше всего меня беспокоила даже не опасность, грозившая мне в большом мире, а неспособность матери ее предотвратить. Было невыносимо думать, что она отказалась участвовать в моей жизни и даже знать о ней: любое умалчивание, даже ненамеренное, воспринималось ею как предательство. На уроке я долго блуждала глазами по казавшейся бесконечной классной комнате в поисках мельчайшей трещинки в стене или паутины – того, что могло стать моим секретом, моей собственной тайной; потом заметила обломанный край плинтуса и успокоилась.

В столовой Краузендорфа все плинтусы оказались целыми. И Грегора не было рядом, я осталась совсем одна. Сапоги эсэсовцев, стуча, задавали ритм поглощению пищи, одновременно отсчитывая секунды до нашей возможной смерти. До чего же вкусная спаржа! Но разве кто-то обещал, что яд будет горьким? Я проглотила кусочек, и сердце застыло от ужаса.

Потом, под пристальным взглядом Эльфриды, которой тоже досталась спаржа, я, пытаясь разбавить тоску, принялась пить воду стакан за стаканом. Может, Эльфриду просто заинтересовало мое платье. Наверное, Герта права и этот рисунок с шахматными фигурами здесь неуместен: в конце концов, я ведь собиралась не на службу и вообще больше не работала в Берлине. Нечего корчить из себя горожанку, говорила свекровь, если не хочешь, чтобы люди косились. Эльфрида не косилась, совсем наоборот. А я ведь просто надела самое удобное, самое привычное платье – Грегор даже звал его «мундиром». Ни к чему не обязывающее, неважно сидящее и даже не «счастливое»; но оно служило мне убежищем – в том числе от Эльфриды, которая, не стесняясь, исследовала каждый его дюйм, так энергично буравя взглядом шахматную доску, что фигуры подскакивали на своих клетках, а само платье едва не расплзлось по швам. Этот яростный взгляд вспарывал шнурки на моих башмаках, гнал к вискам мои волнистые волосы... А я все пила, чувствуя, как раздувается мочевого пузыря.

Впрочем, обед еще не закончился, и я не знала, разрешено ли нам выходить из-за стола. Мочевого пузыря ныл, как в подвале на Буденгассе, где мы с матерью и другими обитателями дома укрывались ночью, когда объявляли тревогу. Только вот здесь в углу не было ведра, а терпеть я больше не могла, поэтому, даже не успев хорошенько подумать, поднялась и попросилась в уборную. Эсэсовцы переглянулись, и один из них, высоченный парень с безумно длинными ногами, повел меня в коридор. За спиной я услышала голос Эльфриды: «Мне тоже нужно».

Кафель в уборной наполовину осыпался, обнажив почерневшие от времени кирпичи. Две раковины, четыре дверцы. Мы с Эльфридой вошли, и эсэсовец занял позицию в коридоре. Я сразу спряталась в кабинку, но не слышала ни щелчка дверного замка, ни звука льющейся воды. Эльфрида то ли растворилась в воздухе, то ли подслушивала, и мне было ужасно стыдно, когда в тишине зажурчала моча. А когда я открыла дверь, она подперла ее носком туфли, схва-

тила меня за плечо, прижала к стене и чуть ли не с нежностью заглянула в глаза. Плитка пахла хлоркой.

– Чего тебе? – шепотом спросила я.

– Мне? Чего ты на меня глазела, пока брали кровь?

Я попыталась высвободиться, но она держала меня крепко.

– Не лезь не в свое дело. Это, кстати, всех нас здесь касается.

– Я просто не выношу вида своей крови.

– А на чужую, значит, пялишься?

Услышав звон металла о дерево, мы вздрогнули, и Эльфрида чуть подалась назад.

– Чем вы там заняты? – раздался голос, и эсэсовец вошел в уборную.

Кафель был холодным и влажным. А может, это моя спина взмокла от пота. Такими здоровенными сапогами только змеиные головы топтать.

– Шушукаетесь? – спросил он.

– У меня голова закружилась, должно быть, из-за анализов, – пробормотала я, коснувшись ярко-красной точки возле локтя, прямо над вздувшейся веной. – Она мне помогла, уже прошло.

Охранник буркнул, что если еще раз застанет нас в такой интимной позе, то преподаст нам хороший урок. «Хотя нет, пожалуй, воспользуюсь случаем», – заявил он и внезапно расхохотался.

Мы вернулись в зал; верзила топал за нами по пятам. Но он ошибался. Между мной и Эльфридой не было никакой интимности – нас сблизил страх. Мы смотрели на остальных и на все, что нас окружало, с бессознательным ужасом новорожденных, только что явившихся в этот мир.

Вечером, в туалете дома Зауэров, я поняла, что моя моча пахнет спаржей, и вспомнила об Эльфриде: наверное, сейчас она тоже сидит в туалете и ощущает тот же запах. Как, впрочем, и Гитлер в своем бункере в Вольфсшанце. В тот вечер моча Гитлера пахла так же, как моя.

## 4

Я родилась 27 декабря 1917 года, за одиннадцать месяцев до окончания Великой войны – этакий рождественский подарочек, уже после праздника. Мама говорила, что Санта-Клаус забыл обо мне, а потом, разбирая сани, услышал детский плач и понял, что это ору я, спрятанная за несколькими одеялами. Он снова отправился в Берлин, с неохотой: внеплановый рейс в самом начале отпуска – та еще неприятность. «Хорошо, что он вообще тебя заметил, – смеялся папа, – в том году ты стала единственным нашим подарком».

Отец был железнодорожником, а мать – портнихой, поэтому пол гостиной вечно усеивали катушки всевозможных цветов. Когда мама облизывала кончик нитки, чтобы вставить его в игольное ушко, я повторяла все это за ней: тайком отматывала кусок подлиннее, долго перекачивала его языком, прижимая к небу. Однажды, когда нитка окончательно размокла, мне вдруг безумно захотелось проглотить ее, чтобы выяснить, убьет ли она меня, попав внутрь. Следующие несколько минут я провела в предчувствии неминуемой гибели, но не умерла и вскоре забыла об этом. Тот случай стал моей первой тайной. По ночам я иногда вспоминала о нем в полной уверенности, что уж теперь-то мое время пришло. Выходит, я рано начала играть со смертью, хотя никому об этом не сказала.

Вечерами отец слушал радио, а мать, подобрав с пола обрывки ниток, устраивалась в постели со свежим номером «Дойче альгемайне цайтунг», чтобы прочесть очередную главу своего любимого романа. Так прошло все мое детство: запотевшие окна, что выходят на Буденгассе, загодя выученная таблица умножения, путь пешком до школы – сперва в слишком широких, потом в слишком узких туфлях, обезглавленные острыми ногтями муравьи; воскресные

дни, когда папа с мамой непременно читали с амвона, она – псалом, он – отрывок из Послания к Коринфянам, а я слушала их со скамьи, гордясь обоими и одновременно умирая от скуки; спрятанная во рту монетка в один пфенниг – металл был соленым, щипал язык, и я, полузакрыв глаза от удовольствия, подталкивала ее все ближе и ближе к горлу, но в последний момент, уже почти проглотив, сплюнула. Мое детство – это книги под подушкой, детские песенки, которые мы распевали с отцом, игры в жмурки на площади, рождественский штоллен, поездки в Тиргартен и тот день, когда я, подойдя к колыбельке Франца, сунула его крохотную ручку себе в рот и пребольно укусила. Брат взревел, как делают все младенцы, просыпаясь, и никто не узнал о том, что я сделала.

Это детство было полно секретов и тайных преступлений, но я так старалась скрыть свои, что совсем не замечала чужих. Я не спрашивала себя, где родители достают молоко, стоившее в те годы сотни тысяч марок: вдруг им приходилось грабить магазины и вступать в перестрелку с полицией? Годы спустя мне по-прежнему невдомек, как они отнеслись к унижительному Версальскому миру, прониклись ли, подобно многим, ненавистью к Соединенным Штатам, считали ли клеветой обвинения в разжигании войны. Отец, кстати, тоже принял в ней участие и однажды целую ночь провел в какой-то яме бок о бок с мертвым французом, прикорнув под конец на плече покойника.

Германия оправлялась от ран, мать облизывала кончик нитки, а потом поджимала губы, изображая черепаху, отчего я смеялась; отец после работы слушал радио, покуривая сигареты «Юно»; Франц посапывал в своей колыбели – одна рука под головой, нежные пальчики другой сжаты в кулачок.

А я, запершись в комнате, вела счет своим тайным преступлениям. И ни в одном не раскаивалась.

## 5

– Ничего не понимаю, – ныла Лени. После обеда мы снова уселись за стол, теперь уже убранный, с книгами и выпрошенными у охранников карандашами. – Слишком много заумных слов.

– Например?

– Алима... Нет, амила... Сейчас, погоди... – Лени сверилась с текстом: – Да, амилаза! Или вот еще: пепси... Гм, нет... А, пеп-сино-ген!

Через неделю после того, первого дня к нам в столовую зашел шеф-повар, раздав книги о здоровом питании: наша задача считалась крайне серьезной, а значит, выполнять ее требовалось на отлично. Повар отрекомендовался Отто Гюнтером, но мы знали, что все вокруг, даже эсэсовцы, зовут его Крумелем, «Крошкой», наверное, оттого, что он был низеньким и худощавым, кожа да кости. Когда нас привозили в казарму, он со своей командой уже заканчивал готовить завтрак, к которому мы приступали немедленно, а Гитлер – после десяти, получив сводку с фронта. Около одиннадцати нам подавали приготовленный им же обед, а затем, выждав положенный час, развозили по домам, чтобы снова собрать в пять за ужином.

Пролистав пару страниц выданной Крумелем книги, одна из женщин с широкими, почти квадратными плечами и неожиданно тонкими лодыжками, торчавшими из-под черной юбки, громко фыркнула и скривилась. Звали ее Августиной. Лени, напротив, побледнела, словно ей предстоял экзамен и она была уверена, что в жизни его не сдаст.

Мне же все это представлялось чем-то вроде забавы: не видя особой пользы в заучивании фаз пищеварительного процесса и не стремясь выделиться, я просто убивала время за разбором схем и таблиц. Учиться я всегда любила и сейчас тешила себя мыслью, что не растеряла своих способностей.

– Мне этого никогда не одолеть! – в отчаянии восклицала Лени. – Как думаешь, нас будут проверять?

– Брось. Что, охранники вызовут тебя к доске и поставят оценку? – усмехнулась я.

Но Лени не унималась:

– Может, доктор спросит, когда кровь будет брать! Запрет, привяжет к стулу и давай спрашивать!

– Да уж, весело будет.

– Почему?

– Ну, мне будет весело узнавать, как работают кишки Гитлера, – ни с того ни с сего расхохотавшись, объявила я. – Если верно рассчитаем, сможем выяснить, в какой момент ему приспичит.

– Фу, гадость какая!

Ну, что естественно, то не безобразно, все мы люди, даже Адольф Гитлер. А значит, и пишу он переваривает, как все мы.

– Слышь, училка, ты с лекцией закончила? Я так, чтобы знать. А то, говорят, после доклада аплодисменты положены, мы бы похлопали.

Это снова была Августина, широкоплечая женщина в черном. Сегодня охранники не требовали тишины: превратить столовую в класс велел сам шеф-повар, а его распоряжения выполнялись.

– Прости, – разом понурилась я, – не хотела тебе мешать.

– Да мы и так знаем, что ты городская, типа ученая.

– Ученая, и что с того? – вмешалась Улла. – Все равно сидит теперь здесь, с нами, и ест ровно то же, что и мы: изысканные блюда, от души приправленные ядом.

И она издала смешок, встреченный молчанием.

Осиная талия и пышная грудь: лакомый кусочек, как называли Уллу эсэсовцы. Она вырезала из журналов фотографии актрис, клеивала их в тетрадь и время от времени перелистывала страницы, нежно поглаживая каждую: фарфоровые щеки Анни Ондры, той, что вышла замуж за Макса Шмелинга, боксера; мягкие, сочные губы Илзе Вернер, насвистывавшие по радио припев *«Sing ein Lied wenn Du mal traurig bist»*: «Спой эту песню, чтобы спастись от тоски и одиночества», – будто бы говорили они немецким солдатам. Но больше всего Улла любила фото Сары Леандер из фильма «Хабанера»: брови вразлет и завитые прядки на висках.

– А мне нравится, что ты ездешь в наши казармы с таким шиком, – сказала она; я в тот день надела сшитое мамой бордовое платье под горло, с рукавами-фонариками. – Если помрешь, то при полном параде, даже переодевать не придется.

– Да что вы опять об этих ужасах? – возмутилась Лени.

Герта была права: всех девушек, не только Эльфриду, неделю назад чуть не испепелившую взглядом шахматное платье, смущали мои наряды. Впрочем, сама Эльфрида в тот момент не вмешивалась: она читала, прижавшись спиной к стене и сдвинув карандаш в уголок рта, будто сигарету. Даже удобно сидя на стуле, она казалась напряженной и готовой вот-вот вскочить.

– Нравится платье?

Улла заколебалась, потом ответила:

– Чересчур закрытое, зато почти по парижской моде. Все лучше, чем дирндли, в которые нас обряжает фрау Геббельс. И который носит вот эта, – добавила она шепотом, скосив глаза на мою соседку, ту, что осмелилась в первый день встать после обеда; к счастью, Гертруда ее не услышала.

– Боже, что за ерунда. – Августина громко хлопнула ладонями по столу, словно желая оттолкнуться посильнее, но поняла, что такой уход от разговора будет выглядеть слишком

уж вызывающе, и попросту пересела поближе к Эльфриде; та по-прежнему не сводила глаз с книги.

– И все-таки, нравится или нет? – повторила я.

Улла нехотя кивнула.

– Тогда я тебе его дарю.

Еле слышимый звук заставил меня поднять голову: Эльфрида закрыла книгу и скрестила руки на груди, так и не вынув карандаш изо рта.

– И как же ты ей отдашь платье? Разденешься у всех на виду, как святой Франциск? – ухмыльнулась Августина, считая, что Эльфрида ее поддержит, но та снова промолчала.

Я повернулась к Улле:

– Если хочешь, принесу его завтра. Как раз успею постирать.

По столовой пронесся ропот. Эльфрида наконец оторвалась от стены, с грохотом швырнула книгу на стол и села напротив, буравя меня взглядом; ее пальцы барабанили по обложке. Августина, уверенная, что не пройдет и минуты, как в мою сторону полетят копыя, пристроилась рядом. Но Эльфрида молчала и даже перестала барабанить.

– Явилась, значит, из самого Берлина, чтобы нас облагодетельствовать, – решила поднажать Августина. – Урок нам, видите ли, преподавать, биологии и христианской добродетели. Показать, что мы рядом с ней никто.

– Хочу, – подала голос Улла.

– Значит, будет твое, – не моргнув глазом ответила я.

– Какого черта... – начала Августина, прищелкнув языком: я уже поняла, что так она выражает несогласие.

– В строй! – приказал вошедший охранник. – Ваше время истекло.

Девушки повскакивали с мест. Как ни впечатлил их монолог Августины, желание выбраться из столовой оказалось сильнее: в конце концов, сегодня они снова вернутся домой целыми и невредимыми.

Пока мы строились, Улла тихонько коснулась моего локтя.

– Спасибо, – шепнула она и проскочила вперед; Эльфрида оказалась сзади.

– Тут тебе не женская гимназия, берлиночка. Это казарма.

– Сама же сказала: «Не лезь не в свое дело», – огрызнулась я, удивившись собственной реакции, и почувствовала, как она прожигает мне взглядом затылок. Надеюсь, мой тон был оправдывающимся, а не задиристым: ссориться с Эльфридой мне не хотелось, хоть я пока и не понимала почему.

– В любом случае малышка права, – сказала она. – В этих книгах нет ничего веселого, если, конечно, тебе не нравится искать у себя симптомы разных отравлений. Или когда ты готова к смерти, еда кажется вкуснее?

Я пошла дальше, так и не ответив.

Тем же вечером я выстирала для Уллы бордовое платье. Я собиралась отдать его вовсе не из щедрости и не в надежде завоевать ее расположение: мне так же невыносимо было видеть его на ней, как и сознавать, что мою счастливую столичную жизнь сперва перенесли в захолустный Гросс-Парч, а потом и вовсе развеяли по ветру. То был знак смирения.

Тремя днями позже я вручила ей платье – высушенное, выглаженное и аккуратно завернутое в газету. Но ни разу не видела, чтобы она надевала его в столовую.

Герта сняла с меня мерку и подшила кое-что из своих вещей, чтобы я могла их носить: заузила в бедрах и, по моей настоятельной просьбе, слегка укоротила. «Такая уж сейчас мода», – объясняла я. Это в Берлине такая мода, ворчала она, не вынимая булавок изо рта, – совсем как мама. И катушки по полу своего деревенского дома она тоже разбрасывала.

Шахматное платье вместе со всей конторской одеждой я убрала в платяной шкаф, раньше принадлежавший Грегору, только туфли оставила. «Куда это ты собралась на таких каблучи-

цах?» – разорялась Герта. Но только в них я слышала собственные шаги, пусть и неверные. Сколько раз, когда утро было особенно хмурым, я хваталась за шпильки почти с яростью: почему, по какой причине меня включили в число пробовальщиц? У меня ведь нет с ними ничего общего, за что мне это?

Потом я видела в зеркале темные круги под глазами, и ярость сменялась отчаянием. Я упрятала шахматное платье в темноту шкафа, закрыла за ним дверь. Эти темные круги были предупреждением, но я не смогла понять его, угадать свою судьбу или хотя бы сойти с проторенной дороги. Теперь депрессия, которой я всегда так боялась, наконец настигла меня, и мне стало ясно, что девушки, певшей в школьном хоре, целыми днями катавшейся с подругами на роликах и дававшей им списывать домашние задания по геометрии, больше нет, как нет и секретарши, влюбленной в собственного шефа. Осталась только женщина, в одночасье состаренная войной: видно, так уж было написано ей на роду.

Мартовской ночью 1943 года, которая и определила мою судьбу, привычно завывала сирена – сперва тихо, едва слышно, будто брала разгон, потом по нарастающей: этого времени маме как раз хватало, чтобы подняться с постели. «Роза, вставай, – позвала она. – Опять бомбят».

С тех пор как умер отец, я спала на его месте, чтобы всегда быть рядом: две взрослые женщины, каждая из которых познала теплую повседневность супружеской постели и утратила ее. Два тела, которые под одеялом даже пахли почти одинаково, – может, это и выглядело не вполне пристойным, но мне хотелось быть с ней, когда она просыпалась среди ночи, даже если сирена молчала. А может, я просто боялась спать одна и поэтому после ухода Грегора переехала из нашей съемной квартирки на Альтемессевег в родительский дом. Так и не привыкнув быть женой, я вынужденно вернулась к роли дочери.

«Пойдем уже», – торопила мама, увидев, что я ищу платье. Сама она надела пальто прямо на ночную рубашку, а ноги сунула в тапочки.

Вой разбудившей нас сирены ничем не отличался от всех прочих: протяжный стон на одной ноте, который, казалось, мог длиться вечно, но на одиннадцатой секунде понижался на полтона, а затем стихал, чтобы тут же начаться опять.

До той ночи воздушные тревоги были ложными, однако мы каждый раз сбегали вниз по лестнице с фонариками в руках, даже не задумываясь о затемнении: в темноте немудрено споткнуться или толкнуть соседей, тоже спешащих в подвал, нагруженных одеялами, детьми и бутылками с водой. Или налегке, но до смерти напуганных. И каждый раз мы садились прямо на пол, в одном и том же месте, под голой лампочкой, свисающей с потолка. Пол был холодным, толпа напирала, от сырости ломило спину.

Мы, жители дома 78 по Буденгассе, толкались, плакали, молились, просили помощи, мочились в ведро прямо на глазах у окружающих или старались сдерживаться, не обращая внимания на позывы мочевого пузыря. Помню, один из мальчишек достал яблоко, но, как только откусил, другой отобрал его и, пока не получил пощечину, сгрыз куда больше, чем досталось первому. Мы все были голодны, но сидели молча или спали, а на рассвете, усталые и помятые, выбирались наружу.

Вскоре сполохи зари принимались золотить стены величественного здания на окраине Берлина, и те начинали сверкать. Но мы, прятавшиеся в подвале этого здания, даже не замечали рассвета, и уж точно не верили, что новый день будет лучше предыдущего.

В ту ночь, ведя мать под руку вниз по лестнице, я пыталась понять, в какой тональности воеет сирена. В школьном хоре учительница всегда хвалила мой слух и тембр голоса, но всерьез музыкой я так и не занялась и нот не знала. Тем не менее, устроившись рядом с фрау Райнах в платочке кофейного цвета, глядя на черные туфли фрау Прайс, совсем стершиеся на мысах, на волосы, торчащие из ушей герра Холлера и два только что вылезших, совсем еще крошеч-

ных передних зуба Антона, сына Шмидтов, улавливая в сиплом дыхании матери, прижимавшейся ко мне и шептавшей: «Как холодно, укрой меня», тот самый, неприличный, но до боли знакомый запах, я больше всего хотела узнать, что за ноту тянет сирена.

Гул самолетов прогнал и эту мысль, и все остальные. Мама вцепилась мне в руку, содрав ногтями кожу. Паулина, всего трех лет от роду, вскочила с места. Ее мать, Анна Лангганс, попыталась было прижать дочь к себе, но та с упорством, достойным ее девяноста сантиметров роста, продолжала вырываться. Запрокинув голову, она вертелась из стороны в сторону и старалась понять, откуда идет этот звук, так что ее подбородок чертил воздух параллельно траектории самолетов.

Потом стены вздрогнули, и Паулина рухнула на заходивший ходуном пол. Резкий свист перекрыл все звуки вокруг, даже наши крики и ее плач. Единственная лампочка погасла. В подвале гроыхнуло так, что стены будто изогнулись. Ударная волна отбросила нас на другой конец помещения. Человеческие тела сталкивались, перекручивались, скользили по полу, а стены надсадно отхаркивали штукатурку.

Бомбежка закончилась. Сквозь истерзанные барабанные перепонки до меня глухо доносились рыдания и вопли. Кто-то подергал дверь: оказалось, ее заклинило. Женщины завизжали, но мужчины, сразу несколько человек, бросились на помощь и совместными усилиями все-таки открыли ее.

Мы ослепли, оглохли, а белесая известковая пыль настолько исказила наши черты, что и родная мать не узнала бы. Но каждый из нас, забыв все другие слова, упрямо искал именно их, своих матерей и отцов. Сначала я видела только клубы дыма. Потом среди них появилась Паулина: по ее виску стекал алый ручеек. Я зубами надорвала подол юбки, промокнула кровь, перевязала лоскутом ткани голову и снова бросилась искать мать – ее, свою, чью угодно, но никого не узнавала.

Солнце взошло, когда всех уже вытащили наружу. Наш дом не рухнул, хотя в крыше зияла огромная дыра, а вот здание напротив превратилось в груды камней. На улице в ряд выкладывали раненых и погибших. Привалившись к стене, люди пытались продышаться, но легкие горели от пыли, а ноздри забила известь. Фрау Райнах потеряла свой платок, и ее волосы казались дымящимися вулканами, торчащими на голове, словно бубоны. Герр Холлер хромал. Висок Паулины наконец перестал кровоточить. Я осталась цела, ни единой царапины. А мама погибла.

## 6

– Я вот лично за фюрера готова и жизнь отдать, – заявила Гертруда, сощурившись для пущего эффекта.

Ее сестра Сабина кивнула: неуловимая линия подбородка никак не давала мне определить, кто из них старше. Тарелки уже убрали, но до отъезда оставалось еще полчаса. В раме окна, на фоне свинцового неба, застыл силуэт еще одной пробовальщицы, Теодоры.

– И я бы тоже жизнь за него отдала, – поддакнула Сабина. – Он для меня ну как старший брат. Как тот, которого мы потеряли, Герти.

– Я бы предпочла видеть его своим мужем, – усмехнулась Теодора.

Сабина нахмурилась, будто Теодора проявила неуважение к фюреру. Подоконник дрогнул: на него облокотилась Августина.

– Вот и уйми тогда своего Великого Утешителя, – буркнула она. – Это ведь он посылает на убой ваших братьев, отцов и мужей. А как те сгинут, всегда можно представить его на месте брата, верно? Или помечтать, как выйдешь за него. Смешные вы, девки!

И Августина провела кончиками пальцев по уголкам рта, стирая белесую пену.

– Молись, чтобы тебя никто не услышал! – вскинулась Гертруда. – Или хочешь, чтобы я позвала эсэсовцев?

– Фюрер, конечно, не стал бы затевать войну, если бы только мог, – прошептала Теодора. – Но разве он мог?

– О нет, вы даже не смешные. Вы одержимые.

Прозвище «одержимые» намертво прилипло к Гертруде и ее немногочисленному окружению. Августина вложила в него весь свой гнев: ее муж погиб на фронте, потому-то она и носит только черное, сказала мне Лени.

Все эти женщины выросли в одной деревне, были сверстницами, вместе учились или, по крайней мере, хорошо знали друг друга. Все, кроме Эльфриды: она никогда не жила в Гросс-Парче или его окрестностях, и Лени сказала, что до первого снятия пробы ни разу ее не видела. Выходит, Эльфрида тоже была им чужой, но с ней никто не связывался. Даже Августина не смела ее тронуть; что до меня, ее злило не столько мое столичное происхождение, сколько очевидная привычка подстраиваться к обстоятельствам – это делало меня уязвимой. Ни мне, ни остальным даже в голову не пришло спросить Эльфриду, откуда та приехала; сама она об этом не упоминала, а ее нарочитая отстраненность внушала большинству из нас неподдельный страх.

Я задавалась вопросом, не сбежала ли Эльфрида, подобно мне, в деревенскую глушь, ища спокойствия, лишь для того, чтобы сразу же попасть под облаву, как и я? По каким признакам нас отбирали? Впервые сев в автобус, я думала, что окажусь в компании отъявленных нацисток, марширующих по плацу с песнями и знаменами, но вскоре поняла, что, за исключением «одержимых», никто особенно не верил в дело партии. Может, взяли самых бедных, самых обездоленных, многодетных, которым нужно было кормить семьи? Все женщины часто говорили о детях, кроме самых младших, Лени и Уллы, да еще Эльфриды: у этих, как и у меня, детей не было. Вот только колец они тоже не носили, а я была замужем уже четыре года.

Едва я вошла в дом, Герта попросила меня помочь с бельем – даже не поздоровалась. Ей явно не терпелось собрать свои застиранные простыни, словно она ждала этого не один час и теперь, когда я наконец явилась, не могла больше ждать ни минуты. «И корзину захвати-ка». Обычно она расспрашивала меня о работе, усаживала за стол, давая немного отдышаться, или заваривала чаю, и эта грубость меня смутила.

С трудом втащив корзину на кухню, я поставила ее на стол. «Давай, не ленись», – подгоняла Герта.

Стараясь в этой суете не опрокинуть корзину, я принялась потихоньку вытягивать широкое полотнище. Но стоило мне дернуть посильнее, чтобы высвободить край, как из-под него выпорхнул небольшой белый прямоугольник. Сперва я решила, что это платок: сейчас он упадет на пол, перепачкается, и свекровь рассердится еще больше. Но когда он коснулся досок, я поняла, что это вовсе не платок, а конверт с письмом, и испуганно взглянула на Герту.

– Вот молодец! Сама я ни за что бы не нашла, – захихикала она. Я тоже рассмеялась, то ли от удивления, то ли от радости. – Ну что смотришь, не открываешь? – Затем, склонившись ко мне, она зашептала: – Если хочешь, ты его в комнате прочитай, да только потом сразу возвращайся, расскажешь, как там мой сыночек.

*Моя дорогая Роза,*

*наконец-то я могу тебе ответить. Мы много где побывали, спали в грузовиках, а шинелей порой не снимали целыми неделями. И чем дальше мне приходится колесить по дорогам и селениям этого края, тем чаще я обнаруживаю, что вокруг одна нищета. Люди истощены, дома повсюду больше похожи на лачуги – вот как, значит, выглядит большевистский рай, рай для рабочего человека... Похоже, мы здесь надолго застряли – на обороте*



*найдешь мой новый адрес, можешь смело писать на него. Спасибо за целый ворох писем: прости, если буду отвечать не так часто, но к концу дня уже совсем не до того. Вчера все утро выгребал снег из траншеи, ночью отправили на четыре часа в караул (пришлось надеть под мундир целых два свитера), а с утра в траншею опять полно снега.*

*Спал я недавно, рухнув на мешок соломы, и видел сон, как мы с тобой лежим в постели в нашей старой квартирке на Альтемессевег – вернее, я знал, что это наша квартира, хотя комната выглядела совсем иначе и, что особенно странно, на ковре спала собака, вроде овчарки. Я был не против собаки у нас в доме, если она твоя, но в тот момент думал только о том, что надо быть осторожным и не разбудить ее, ведь собаки – существа опасные. Мне хотелось лечь с тобой рядом, и я подошел – медленно, тихо, чтобы не потревожить зверюгу, но она все равно проснулась и зарычала. Ты ничего не слышала, ты спала, а я кричал, звал тебя, боялся, что собака тебя укусит. В какой-то момент она зарычала особенно громко, вскочила... и тут я проснулся. Потом еще долго ходил смурной – наверное, просто переживал, как ты доберешься. Но теперь, раз уж ты в Гросс-Парче, мне будет спокойнее: родители, конечно, о тебе позаботятся.*

*Знать, что после всего случившегося ты совсем одна там, в Берлине, – как же это было мучительно! Не было дня, чтобы я не вспоминал, как мы ссорились три года назад, когда я решил пойти добровольцем: доказывал тебе, что нельзя быть такой эгоистичной трусихой, что оборона страны – вопрос и нашей с тобой жизни или смерти. Я ведь помнил, каково было после прошлой войны: ты-то, конечно, помладше, а вот я помнил, как мы тогда страдали. Наш народ, наивный, неискушенный, тогда здорово унизили. Но теперь пришло время твердости, и я должен был внести свою лепту, даже если это означало разлуку с тобой. Но прошло время, и сегодня я не знаю, что и думать.*

Следующие абзацы были вымараны почти полностью, и мрачный вид этих черных прямоугольников, закрывающих слова и целые фразы до полной нечитаемости, встревожил меня. Я попыталась что-нибудь разобрать, но тщетно. «Сегодня я не знаю, что и думать», – писал Грегор. Обычно он избегал компрометирующих тем: опасался военной цензуры. Его письма были короткими, и порой даже казалось, что он ко мне охладел. Однако после того сна муж, похоже, так и не смог обрести привычную сдержанность: перо в нескольких местах насквозь прорвало бумагу.

Грегор вечно смеялся надо мной: мол, я слишком уж доверяю снам, будто в них есть пророческая сила. Сам он всегда утверждал, что снов не видит, и мне было больно знать, что он изменился, впал в такую меланхолию. На мгновение мне показалось, что с фронта вернется совсем другой человек. Сможем ли мы поладить? Сколько ни запирайся в комнате, видевшей его детские сны, сейчас от них не осталось и тени воспоминаний; сколько ни окружай себя его вещами, для настоящей близости этого мало. Ночами в нашей съемной квартире все было иначе: даже засыпая на другом боку, он протягивал руку, брал меня за запястье, и мне, любившей почитать в постели, приходилось перелистывать страницы одной рукой, чтобы не заставить его разжимать пальцы. Во сне он частенько стискивал мою руку, как капкан, потом снова ослаблял хватку. Чьего запястья он касается сейчас?

Однажды ночью, почувствовав, что кисть совсем затекла, я решила сменить позу – медленно, стараясь не разбудить Грегора, высвободила руку и увидела, что его пальцы, лишившись опоры, хватают пустоту. И тотчас же в груди поднялась такая волна нежности, что у меня перехватило дыхание.

*Так странно было узнать от родителей, что ты приехала к ним без меня. Обычно я не сентиментален, но сейчас аж слезы подступают, как представляю, что ты ходишь по этим комнатам, касаешься нашей старой мебели, варишь с мамой варенье (спасибо, кстати, что прислали баночку, поцелуй маму от меня и передавай привет папе).*

*Мне пора, завтра подъем в пять. Русский орган «катюша» играет всю ночь, но мы уже привыкли. Выживание, Роза, превращается здесь в игру случая. Но ты не бойся: заслышав свист пули, я сразу могу понять, близко она пролетит или далеко. И потом, есть одна примета, о которой я слышал в России: пока женщина верна, солдату не быть убиту. Остается только надеяться на тебя!*

*Чтобы ты не сердилась за долгое молчание, я в этот раз написал побольше: тебе не на что жаловаться. Расскажи, как ты проводишь день: совсем не могу представить себе девчонку вроде тебя в деревне. Уверен, ты быстро к этому привыкнешь: увидишь, тебе даже понравится. И еще расскажи, пожалуйста, об этой новой работе: ты писала, что все объяснишь при встрече, что письму такие вещи лучше не доверять. Стоит ли мне волноваться?*

*И напоследок – сюрприз: на Рождество мне дают увольнительную, я приеду и останусь дней на десять. Отпразднуем все вместе, впервые в моих родных местах! Жду не дождусь, когда смогу тебя поцеловать.*

Я вскочила с постели, листок дрожал у меня в руках. Нет, я не ошиблась, он действительно это написал. Грегор приедет в Гросс-Парч!

*Каждый день разглядываю твою фотографию. Я ношу ее в кармане, она слегка помялась, и у тебя на щеке залегла складка, совсем как морщинка. Когда приеду, дай мне другую, ладно? На этой ты выглядишь теперь сильно старше. Но знаешь, что я тебе скажу? Даже в старости ты будешь красавицей.*

*Грегор*

– Герта! Вот, читай! – размахивая письмом, я выбежала из комнаты и показала его свекрови. Конечно, только ту часть, где Грегор говорил про увольнительную, – остальное касалось лишь двоих, меня и моего мужа.

– Неужто и правда приедет на Рождество? – Герта недоверчиво покачала головой и посмотрела в окошко, не идет ли Йозеф: ей не терпелось поделиться с ним добрыми вестями.

Беспокойство, снедавшее меня всего пару минут назад, растаяло как дым, меня переполняло безграничное счастье. Конечно, мы с ним поладим, снова будем спать вместе, и я крепко-крепко сожму его в объятиях, чтобы больше ничего не бояться.

## 7

Усевшись у камина, мы строили планы по случаю предстоящего приезда Грегора. Йозеф собирался зарезать к обеду петуха, а я гадала, не придется ли мне и в Рождество провести весь день на службе. Чем занять Грегора, пока я в казарме? Хотя, наверное, он приятно проведет время с родителями. И без меня. Я даже слегка приревновала мужа к Герте и Йозефу.

– Может, ему и в Краузендорф разрешат приехать? В конце концов, он ведь тоже солдат вермахта.

– Ну нет, – буркнул Йозеф, – эсэсовцы ни за что его не впустят.

В итоге мы, как это часто случается, незаметно перешли к разговорам о детстве Грегора, и свекровь рассказала, что до шестнадцати лет он был куда ниже и пухлее сверстников.

– И румянец во всю щеку, даже когда не бегал, а за уроками сидел. Соседи думали, выпивает парнишка.

– А он и выпил-то всего разок, случайно, – улыбнулся Йозеф.

– Точно! – воскликнула Герта. – Хорошо, что напомнил... Вот, послушай, Роза. Было ему тогда годков семь, не больше. Лето, самая жара, мы с поля вернулись, а он лежит себе на сундуке, вот, прямо здесь, – она кивнула на большой деревянный ларь у стены, – счастливый такой. Мам, говорит, сок, что ты заготовила, такой вкусный...

– И на столе бутылка вина стоит, – подхватил Йозеф, – наполовину пустая. Я спрашиваю: «Боже правый, зачем же ты это пил?» – а он мне: «Жажда замучила». И смеется.

Герта тоже хохотала до слез. Глядя, как она утирает глаза обезображенными артритом руками, я думала о том, что они гладили едва проснувшегося Грегора по спине, убирали ему волосы со лба за завтраком, не раз и не два смывали грязь с его тела, когда он падал от усталости, вернувшись вечером после игры в войнушку на краю болота, с рогаткой, торчащей из кармана коротких штанишек. И как часто Герта отвечивала ему подзатыльник, а после, у себя в комнате, готова была отрезать руку, ударившую того, кто был когда-то частью ее самой, но теперь стал отдельным, самостоятельным человеком.

– Это потом уж он вымахал, – продолжал Йозеф. – Вытянулся, что твой тополек, только успевай поливать.

Я сразу представила Грегора в виде тополя, высокого-превысокого, вроде тех, что стоят вдоль дороги к Краузендорфу – длинные, идеально прямые стволы, светло-серая кора, усыпанная чечевичками, – и захотела поскорее обнять его. Даже начала считать дни до его приезда, помечая их крестиком в календаре, и каждый крестик немного сокращал ожидание. А пустоту в сердце старалась заполнить домашними хлопотами. До прихода вечернего автобуса ходила с Гертой к колодцу за водой, на обратном пути кормила кур: стоило замешать им тюрю в корыте, как они принимались нервно стучать клювами. И всегда находилась одна, которой не хватало места у кормушки. Встревоженная, она вертела головой туда-сюда, не понимая, как ей быть. Однако, к моему восторгу, и куриные мозги оказались способны на озарение: через несколько секунд, издав низкий клекот, пострадавшая начинала бегать кругами, пока не вклинивалась в узкий просвет между двумя своими товарками, причем с таким напором, что оттирала одну из них от вождленного корыта. Через пару минут все повторялось: корма хватало на всех, но куры не могли в это поверить.

Я часто видела, как куры несутся: клюв дрожит, подергивается, голова склоняется то в одну, то в другую сторону, и когда уже кажется, что шея вот-вот переломится, раздается полузадушенный стон, распахивается клюв и одновременно с ним – круглые изумрудно-зеленые глаза. Не знаю, стонут ли куры от боли, рожая в муках, подобно нам, и если да, то какой грех замаливают. Или, может, все совсем наоборот, и это триумфальный клич: в конце концов, для них чудо рождения – ежедневная рутина. А вот мне так и не довелось его испытать.

Как-то раз, увидев, что одна из самых молодых долбит клювом яйцо, которое сама же и снесла, я бросилась к ней, грозясь пнуть ногой, да посильнее, но опоздала: она успела все склевать.

– Собственного цыпленка сожрала! – жаловалась я Герте.

Свекровь объяснила, что такое случается: курица может разбить свое яйцо по ошибке, но инстинкт непременно заставит ее проглотить то, что попало в клюв. Дай только попробовать – до крошки склюют.

За обедом Сабина рассказывала Гертруде с Теодорой, что ее младший сын, услышав по радио голос Гитлера, до смерти перепугался: подбородок задрожал, личико скривилось,

и мальчик заплакал. «Что разревелся, – возмутилась мать, – это же наш фюрер». «И еще фюрер очень любит детишек», – поддержала ее Теодора.

Немцы вообще любят детей. А куры своих детей едят. Я никогда не была хорошей немкой, но куры, обычные домашние птицы, порой приводили меня в ужас.

В воскресенье я напросилась с Йозефом в лес за дровами. Птицы трещали всюду: настоящая симфония чириканий и посвистываний. Поленья и хворост грузили в тачку и складывали в сарае, где когда-то хранили корм для скота: дед Грегора, помимо сада, держал коров, как, впрочем, и прадед, и все прочие предки. Но в какой-то момент Йозеф продал ферму, чтобы оплатить Грегору учебу, и устроился садовником в замок Мильдернхаген. «Почему, папа?» – спросил тогда сын. «Мы уже старые, долго не протянем», – ответил тот. Других детей в семье не было: двое братьев Грегора умерли еще до его рождения, а сам он наезжал от случая к случаю, и родители коротали свой век в одиночестве.

Услышав, что Грегор хочет учиться в Берлине, Йозеф был разочарован: долгожданный сын, появившийся на свет, когда оба потеряли надежду на еще одного ребенка, не только внезапно вырос, но и вбил себе в голову, что бросит их.

– Ох, как мы тогда поссорились, – признался мне Йозеф. – Не понимал я его, злился, клял, на чем свет стоит, грозился, что не отпущу.

– А потом что? Не сбежал же он из дому?

Грегор никогда не рассказывал мне об этом.

– Нет, такого он бы никогда не сделал. – Йозеф остановился, поморщился, потер спину.

– Болит? Давай я повезу.

– Ну уж нет! Я, может, и стар, но не настолько, – возмутился он, и мы продолжили путь. – Из Берлина приехал какой-то профессор, долго нас уговаривал. Уселся с нами за стол и давай болтать, какой Грегор молодец да как он этого заслуживает. Чтобы чужой человек знал моего сына лучше меня? Я рассвирепел, нагрубил тому умнику. Это потом Герта меня в хлев отвела да заставила головой подумать. Ну и идиотом же я тогда себя почувствовал!

А когда профессор уехал, Йозеф продал всю скотину, кроме кур, и Грегор перебрался в Берлин.

– Трудился много, усердно и получил то, чего хотел: хорошую профессию, просто отличную.

Я не раз подсматривала за Грегором в его кабинете: как он качается на табуретке, сидя за кульманом, как двигает по бумаге рейки пантографа, как чешет карандашом затылок... Мне нравилось подглядывать за его работой, подглядывать всякий раз, когда муж был занят делом, забыв обо всем вокруг, а главное – обо мне: мало ли чем он занят, когда меня нет рядом?

– Эх, если бы только он не пошел на войну...

Йозеф опять остановился, но вовсе не для того, чтобы потереть спину. Не сказав больше ни слова, он вглядывался куда-то в даль, будто заново переживал те события, раз за разом делая правильный выбор – ради сына... Но мало было просто сделать правильный выбор.

Дрова мы складывали молча. Но тишина не была гнетущей: о Грегоре мы говорили часто, других общих тем у нас не имелось. А после разговоров волей-неволей приходилось немного помолчать.

Едва мы вошли в дом, Герта сообщила, что молока больше нет, и я решила сходить за ним сама на следующий день после обеда: дорогу я теперь знала.

Стойкий запах навоза подтвердил, что я на верном пути, задолго до того, как показался хвост очереди, состоявшей исключительно из женщин с пустыми стеклянными бутылками. У меня же была с собой еще полная корзина овощей – обменять на молоко.

Над округой разносилось непрестанное мычание, словно мольба о помощи, такое же безнадёжное, как завывание сирены. Похоже, тревожило оно только меня: одни женщины деловито переговаривались, другие молча держали детей за руку или подзывали их, стоило тем отойти хоть на пару метров.

Лица двух вышедших из дома девушек показались мне знакомыми. Когда они подошли поближе, я поняла, что обе были пробовальщицами. Стриженную под мальчика, с шелушащейся кожей, звали Беатой. Другая скрывала крупную грудь и широкие бедра под бурым плащом и юбкой-колоколом, но лицо, будто высеченное из камня, спрятать было куда сложнее. Звали ее Хайке. Я подняла руку, чтобы махнуть им, но остановилась, не очень понимая, насколько секретна наша работа и не стоит ли сделать вид, что мы незнакомы. Деревня все еще оставалась для меня чужой, да и на этой ферме я была впервые, и к тому же, не считая разговоров за столом, мы ни разу и словом не перемолвились. Здороваться с ними было бы, наверное, неуместно: вряд ли ответят.

И точно, они прошагали мимо, даже не кивнув. Беата всхлипывала, Хайке ее утешала: «Давай поделюсь, в другой раз отдашь».

Этот невольно подслушанный разговор меня смутил: неужели Беата не могла купить себе молока? Нам еще ни разу не заплатили за службу, но эсэсовцы обещали, что деньги непременно будут; правда, цифр они не называли. Я даже на миг засомневалась, действительно ли это мои коллеги, хотя видела их довольно близко. Почему же тогда девушки меня не узнали? Я долго глядела им вслед, надеясь, что они обернутся, но тщетно: вскоре обе скрылись из виду, а там подошла и моя очередь.

На обратном пути начался дождь. Я вся дрожала от холода, волосы повисли сосульками, пальто промокло. Герта советовала взять плащ, но я, конечно, его забыла. Туфли скользили, норовя опрокинуть меня в грязь, потоки воды текли по лицу, заливая глаза. Несмотря на каблуки, я бросилась бежать и вдруг заметила неподалеку от церкви неясные силуэты двух женщин. Я сразу узнала Хайке – то ли по юбке-колоколу, то ли по широкой спине, которую много дней подряд видела за столом. Под их двумя плащами вполне хватило бы места на всех троих.

Я закричала, но раскат грома заглушил мой голос. Закричала снова – они не обернулись. Может, я все-таки обозналась? Силы разом покинули меня, я застыла под проливным дождем и на следующий день расчихалась за столом.

– Будь здорова, – донеслось откуда-то справа.

Это была Хайке. Я удивилась, узнав ее голос: обычно мне удавалось надежно спрятаться за сидевшей между нами Уллой.

– Что, тоже замерзла вчера?

Значит, это были они.

– Да, похоже, простудилась.

Неужели не слышали, как я им кричу?

– Горячее молоко с медом, – вмешалась Беата, будто ожидавшая от Хайке разрешения подать голос. – Молока-то у тебя хоть залейся, быстро поправишься.

Недели сменяли друг друга, и мы потихоньку перестали видеть яд в каждой ложке: совсем как с ухажером, которому со временем доверяешь все больше. Теперь девушки ели жадно, но, набив животы, сразу же теряли прыть, будто у них было тяжело на душе, а не в желудке, и после трапезы целый час сидели с подавленным видом. Каждая по-прежнему боялась отравиться – когда набежавшее облачко вдруг закрывало полуденное солнце или когда начинали сгущаться сумерки.

Не хватало только мяса – свинины, говядины или хотя бы курицы. И все же никто не роптал, в очередной раз не получив тарелку наваристого бульона с тающими во рту клецками, и не

клялся в любви к айнтопфу<sup>4</sup>, ведь сам Гитлер тоже был вегетарианцем. Он не раз обращался к согражданам по радио с призывом хотя бы раз в неделю есть тушеные овощи: считал, что во время войны овощи в городе найти проще простого. Или, может, его это просто не волновало: немцы не умирают от голода, а если умирают, они плохие немцы.

В мыслях о Грегоре я нередко подгоняла свой живот, тыча в него пальцем: наелся, дружок? Пора за работу! Слишком велики были ставки в этой борьбе с ядом, не хватало еще, чтобы каждый раз, когда сытость ослабит мою оборону, у меня тряслись поджилки. «Дай мне сроку до Рождества, хотя бы до Рождества», – молилась я про себя, тайком вычерчивая указательным пальцем крестик в том месте, где кончался пищевод: во всяком случае, так я думала, представляя внутренние органы в виде набора серых прямоугольников, как в книжках Крумеля.

Со временем мы перестали обращать внимание на чужие слезы, даже если речь шла о Лени: когда ее охватывала паника, я лишь касалась рукой румяной щеки. А вот Эльфрида никогда не плакала, но в «час ожидания» я нередко слышала ее шумное дыхание. Стоило ей отвлечься на что-то, как взгляд терял привычную жесткость и она становилась настоящей красавицей. Беата жевала энергично, точно пыталась оттереть перепачканные простыни. Напротив нее Хайке, соседка по парте еще с первого класса, как сообщила мне Лени, отрезала себе кусок форели с маслом и петрушкой; высоко задранный локоть задел руку Уллы, но та ничего не заметила, увлеченно облизывая уголки губ. Похоже, эти неосознанные, совершенно детские движения совсем заворожили охранников. Я часто разглядывала еду в чужих тарелках, и девушка, которой доставалось то же блюдо, что и мне, вдруг становилась дороже самого близкого человека. Я чувствовала прилив нежности даже к прыщу, вскочившему у нее на щеке, к ее бодрому или, наоборот, ленивому утренним потягиваниям, к катышкам на старых шерстяных носках, которые она надевала, прежде чем лечь в постель. Ее выживание значило для меня не меньше, чем мое собственное: сегодня нас ждала одна судьба.

И все же любимицей эсэсовцев была Лени – то ли из-за огромных зеленых глаз, слишком ярких для ее полупрозрачной кожи, выдававшей малейшее волнение, то ли из-за совершенной беззащитности. Стоило кому-нибудь из охранников ущипнуть ее за щеку или пропеть фальцетом: «А чьи это у нас тут гла-азки?» – как Лени, нисколько не смутившись, расплывалась в улыбке. Она считала, что чем больше нежных чувств питают к ней окружающие, тем ей будет спокойнее, и готова была платить за них, а эсэсовцы пользовались этим.

Каждый день в казармах Краузендорфа грозил нам смертью – впрочем, не больше, чем любому из живущих. Права была мама, думала я, пока цикорий хрустел у меня на зубах, а стены столовой впитывали такой домашний, такой обнадеживающий запах цветной капусты.

## 8

Однажды утром Крумель объявил, что собирается нас побаловать (так и сказал, «побаловать», – нам, которые боялись обронить лишнее слово или не вовремя поднять руку), и раздал по кусочку цвибака<sup>5</sup>, только вытащенного из духовки, которым решил удивить шефа:

– Он их обожает. Пек в окопах еще во время Великой войны.

– Ясное дело, как же иначе. Прямо на фронте находил все, что нужно, – прошипела Августина. – А масло, мед и дрожжи небось сам делал, аж употел весь.

К счастью, охранники ее не слышали, а Крумель с помощниками уже скрылись в кухне.

---

<sup>4</sup> Традиционный густой суп, заменяющий собой первое и второе блюда. После прихода к власти нацистов стал одним из символов сплочения немецкого народа.

<sup>5</sup> Сладкие булочки из сахарной крошки.

У Эльфриды вырвался странный звук, похожий на смешок. Я ни разу не слышала, чтобы Эльфрида смеялась, и от удивления прыснула сама. И как только успокоилась, в голове снова всплыло это хрюканье, и я не смогла сдержать беззвучного хихиканья.

– Видали? Экий несдержанный народ эти берлинцы, – выдохнула Эльфрида.

Сначала повисла тишина, потом со всех сторон послышались приглушенные стоны и всхлипы, становившиеся все громче, пока наконец все мы не расхохотались на глазах у недоумевающих эсэсовцев.

– Что гогочете? Вы кем тут себя возомнили? – Один из них, давешний верзила, схватился было за кобуру, но передумал и просто гроыхнул кулаком по столу. – По-плохому хотите?

Мы притихли.

– И чтоб был порядок! – рявкнул охранник, увидев наши испуганно поджатые губы.

Но это уже случилось: мы смеялись все вместе. Впервые.

Цвибак оказался хрустящим, ароматным и невыносимо сладким – совсем как мои служебные привилегии. Крумель был доволен: со временем я поняла, что он никогда не упускал случая потешить свою профессиональную гордость.

Сам он тоже был из Берлина, начинал в «Митропе» – европейской компании, занимавшейся организацией питания в вагонах-ресторанах. В тридцать седьмом его наняли, чтобы «баловать» фюрера, колесившего тогда по Германии на специальном поезде с легкими зенитными пушками – для защиты от атак низколетящих истребителей – и элегантными люксами в вагонах; по словам Крумеля, Гитлер в шутку называл его «отелем для вечно занятого рейхсканцлера». На борту было гордо написано «Америка» – впрочем, только до тех пор, пока Америка не вступила в войну. Затем он был разжалован до «Бранденбурга»: по-моему, далеко не так грандиозно, но я смолчала. А здесь, в Вольфсшанце, Крумель готовил больше двухсот порций в день, «балуя» начальство и нас, пробовавших пищу.

Заходить на кухню нам не разрешалось, Крумель же появлялся, только если желал что-нибудь сообщить или когда его вызывали охранники: например, однажды Хайке решила, что у воды странный привкус, и Беата тоже заметила это. Все повскакивали с мест: как же, сейчас начнутся головокружение, тошнота, судороги... Ведь это же «Фахинген», любимая вода фюрера! Ее даже называли «эликсиром жизни», разве может она навредить?

Но во вторник два помощника Крумеля слегли с температурой; он зашел в столовую и попросил меня помочь. Уж и не знаю, почему он обратился ко мне; может, узнал, что я одна дочитала книги по здоровому питанию до конца (остальные вскоре заскучили и бросили)? Или потому, что я, как и он, была из Берлина?

Увидев его выбор, «одержимые» дружно скривились: если кто и должен был помогать в кухне, то лишь они, идеальные домохозяйки. Однажды я услышала, как Гертруда спросила сестру:

– Читала, как недавно одна женщина зашла в магазин какого-то еврея и ее похитили?

– Нет. А где это случилось? – заволновалась Сабина, но Гертруда не слушала ее:

– Думала, что идет на склад, а оказалась в подземном туннеле. Лавочник завел ее туда, с помощью других евреев связал и отвез в синагогу, а там они все вместе изнасиловали ее.

Сабина в ужасе закрыла глаза, словно сама стала свидетельницей описанного события.

– Неужели это правда, Герти?

– Конечно, – повторила сестра, – они всегда насилюют женщин, прежде чем принести их в жертву.

– Ты это в «Штюмере»<sup>6</sup> прочитала? – поинтересовалась Теодора.

---

<sup>6</sup> «Штюмер» – бульварный немецкий еженедельник.

– Я просто знаю, – ответила Гертруда. – Теперь и мы, домохозяйки, не можем чувствовать себя в безопасности, когда ходим по магазинам.

– Это правда, – вздохнула Теодора. – К счастью, все еврейские магазины позакрывали.

Идеальная немецкая мать, жена и домохозяйка, готовая защищать Родину ногтями и зубами, она сочла себя достойной представительницей нации и, немедленно напросившись на разговор с Крумелем, рассказала ему о ресторанчике, который родители держали до войны: у нее, мол, есть опыт кухонной работы, и она готова это доказать.

Решив убедиться во всем самолично, шеф-повар выдал нам по фартуку и ящик с овощами. Я мыла их в большой раковине, а Теодора нарезала кубиками или кружочками. В этот первый день она обращалась ко мне лишь затем, чтобы выругать за остатки земли на коже или за то, что я развела на полу болото. Будучи, по сути, стажеркой, она все время старалась подсмотреть, что делают младшие повара: заглядывала через плечо, мешала им работать.

– Отвали уже! – рявкнул Крумель, чуть не споткнувшись об ее ноги.

Теодора рассыпалась в извинениях:

– Простите-простите... Думала, какой секретик подгляжу! Поверить не могу, что работаю бок о бок с шеф-поваром такого калибра!

– Бок о бок? Вали отсюда, я сказал!

Правда, на следующий день, убежденная, что стала полноправным членом команды, она вспомнила о профессиональной этике: в конце концов, я считалась ее коллегой, хотя очевидная неопытность делала меня скорее одной из подчиненных. В порыве откровенности Теодора даже рассказала мне о родительском ресторанчике, совсем крохотном, не больше десяти столиков. «Но такой очаровательный, ты бы видела!» Война заставила их прикрыть лавочку, но Теодора надеялась, что, когда все закончится, она снова займется делом, а может, даже расширит его. Морщинки, крошечные плавнички, превращали Теодорины глаза в двух рыбок, и когда мечты о будущем ресторанчике переполняли ее, эти плавнички так и хлопали: я все ждала, что рыбки выпрыгнут и, описав короткую параболу, плюхнутся прямо в кастрюлю с кипятком.

– Но если сюда заявятся большевики, ничего этого не будет. Не откроем мы никакого ресторанчика, конец всему.

Плавнички внезапно застыли, рыбы больше не плавали, превратившись в древние окаменелости. Интересно, сколько лет было Теодоре?

– Надеюсь, не конец, – возразила я, – хотя не знаю, выиграем ли мы эту войну.

– Даже и думать не хочется. Фюрер сказал, если русские победят, нашим уделом будет рабство и разорение. Уже сейчас бесконечные людские колонны пешком движутся в сибирскую тундру, ты разве не слышала?

Нет, ничего подобного я не слышала.

Помню, как-то раз, еще в нашей съемной квартирке на Альтемессевег, Грегор, поднявшись с купленного на барахолке кресла, подошел к окну гостиной и вздохнул: «Русская погода». По его словам, так солдаты прозвали ненастье, потому что атаки русских не затихали и в самый страшный дождь: «Им все нипочем».

Приезжая на побывку, он, случалось, рассказывал о делах на фронте, например о *Morgenkonzert*<sup>7</sup> – предрассветной артподготовке Красной армии. А однажды вечером, уже забравшись под одеяло, сказал:

– Если русские все-таки придут, они не дадут нам пощады.

– Почему ты так считаешь?

---

<sup>7</sup> Утренний концерт (нем.).



– Потому что немцы относятся к ним не так, как к другим пленным. Англичане, французы – их лечит Красный Крест, по вечерам они даже в футбол играют, а советских заставляют рыть окопы под присмотром собственных соратников.

– Как это – соратников?

– Ну, понимаешь, есть те, кого удалось соблазнить лишним куском хлеба или миской бульона, – поморщился он, выключая свет. – Что, если они поступят с нами так же, как мы с ними? Настоящая катастрофа.

Я долго ворочалась, не в силах уснуть, и Грегору пришлось обнять меня:

– Прости, не нужно было об этом рассказывать, тебе не стоит знать. Какой прок от этого знания?

Но я не сомкнула глаз даже после того, как он уснул, без конца повторяя про себя: «Мы получим то, что заслужили».

Услышав ответ, Теодора окинула меня презрительным взглядом и с тех пор стала игнорировать. Такая враждебность меня задела: ей ведь не на что было обижаться. Честно говоря, я все равно не стала бы делиться с ней ничем сокровенным – как, впрочем, и с остальными. С Августиной, весь день подкалывавшей меня: «Что, новую подружку себе завела?» С Лени, так надменно отзывавшейся о каждом блюде, будто я лично их готовила. У меня с этими женщинами не было ничего общего – кроме, разумеется, работы, которая раньше мне и в страшном сне не могла присниться. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Дегустаторшей Гитлера.

Как бы то ни было, враждебность «одержимой» расстроила меня. Блуждая по кухне в еще большей рассеянности, чем обычно, я обварила запястье.

Крик был слышен даже в столовой. Увидев, как сморщилась кожа вокруг ожога, Теодора вмиг забыла про обет молчания, схватила меня за руку и открыла кран: «Сунь скорее под холодную воду!» Потом, не обращая внимания на вернувшихся к работе поваров, очистила картофелину и, промокнув руку кухонным полотенцем, приложила к ране: «Вот увидишь, заживет как на собаке». Эта почти материнская забота меня немного утешила.

Прижимая к запястью половинку картофелины, я забилась в угол и оттуда увидела, как Крумель, посмеиваясь, бросает что-то в суп. Заметив мое удивление, он приложил палец к губам:

– Чтобы еда была здоровой, нужно хоть немного мяса, – подмигнул он. – Ты же читала книжку, которую я вам давал? Но наш гений и знать ничего не хочет, приходится тайком подбрасывать ему сало в суп. Ты даже не представляешь, как он злится, когда замечает! Хотя, по правде сказать, почти никогда не замечает. – И добавил, расхохотавшись: – А как решит, что поправился, я и кусочка в него не могу запихнуть.

Подошла Теодора с полной миской муки, и мысли Крумеля потекли в другом направлении.

– Веришь ли, ничего, ни крошки! Манная лапша с творогом? Для пищеварения самое то, но он не хочет. Баварский яблочный пирог, его любимый? Кажется, во время последней конференции я чуть не каждый вечер подавал его к вечернему чаю. Но если он сел на диету, то даже не притронется к нему, клянусь. За две недели может похудеть килограммов на семь.

– Что еще за вечерний чай? – поинтересовалась «одержимая».

– Дружеские посиделки. Шеф пьет только чай или горячий шоколад, совсем двинулся на этом шоколаде. Остальные, насколько мне известно, наливаются шнапсом – он не то чтобы одобряет это, но, скажем так, терпит. Только Хоффман, фотограф, его как-то расстроил, ну так это известный пьянчуга. Но в целом шефу все равно, глаза закрыл – и слушает себе «Тристана и Изольду» да бормочет: «Как придет мой срок, хочу, чтобы это было последним, что я услышу».

Теодора закатила глаза от восторга. Я приподняла картофелину: ожог разрастался. Хотелось показать его Теодоре, в надежде, что она хотя бы гаркнет, прикажет вернуть импровизированный компресс на место и не капризничать. И вдруг я затосковала по маме.

Но «одержимая» уже не обращала на меня никакого внимания и неотрывно смотрела в рот Крумелю. По тому, как повар говорил о Гитлере, любому стало бы ясно, что он любит его, заботится о нем и считает само собой разумеющимся, что для этого нужно заботиться также и о нас, обо мне. Впрочем, я ведь дала клятву умереть за фюрера. И каждый день в моей тарелке, во всех наших десяти тарелках, выстроившихся в две шеренги, Крумель свершал таинство пресуществления, хотя, надо сказать, без обещаний вечной жизни: двести марок в месяц – вот и все, что мы получим.

Их выдали несколько дней назад на выходе из казармы, в запечатанных конвертах, и мы, не сговариваясь, тут же сунули их кто в карман, кто в сумочку: по дороге ни одна не осмелилась заглянуть внутрь. Только дома, запершись в комнате, я наконец в полном ошеломлении пересчитала банкноты: вышло куда больше моей берлинской зарплат.

Решившись, я выбросила картофелину в мусорный бак.

– Шеф говорит, стоит ему съесть мяса или выпить вина, как он потеет. А я ему говорю: это все оттого, что он слишком возбужден. – Раз заговорив о Гитлере, Крумель уже не мог остановиться. – Он мне: взгляни на лошадей, взгляни на быков – вегетарианцы, но сильные и крепкие. А взгляни на собак: стоит пробежать хоть пару метров, и у них уже язык на плече.

– Это правда, – вмешалась Теодора. – Я раньше об этом не думала, но он прав.

– А, прав или не прав, не мне судить. Тем более он не раз говорил, что не выносит мясников. – Теперь Крумель обращался только к ней; я взяла из хлебной корзины буханку, оторвала корочку и отщипнула немного мякиша. – Как-то за обедом рассказал гостям, что однажды побывал на бойне и потом еще долго не мог отмыть галоши от свежей крови. Думаю, бедняжке Дитрих пришлось отставить тарелку – очень впечатлительная девушка.

«Одержимая» расхохоталась. Я катала мякиш в руках, пытаюсь слепить из него то одно, то другое: лепешку, косичку, цветочек. Увидев это, Крумель тут же отругал меня за расточительность.

– Это же для вас, – захлопала я глазами. – Это Крошки, такие же, как вы.

Но он, не обратив внимания на мои слова, отвернулся и стал помешивать бульон, а Теодору послал проверить, как там редиска в духовке.

– На самом деле наше присутствие здесь – тоже безумная расточительность, – продолжила я. – Все это, включая нас, девушек, – пустая трата времени. При такой сложной системе безопасности никто не попытается его отравить, это абсурд.

– Ты, я смотрю, специалист по безопасности? – язвительно спросила «одержимая». – А может, еще и по военной стратегии?

– Прекратите сейчас же, – буркнул Крумель: ни дать ни взять добрый папаша, который успокаивает пререкающихся дочерей.

– А как это делали раньше, до того, как взяли нас? – не унималась я. – Он не боялся, что его отравят?

Тут в кухню заглянул один из охранников: пора было садиться за стол. Фигурки из мякиша остались сохнуть на мраморной столешнице.

На следующий день, пока я, увертываясь от суетящейся «одержимой», слонялась среди дружно работающих поваров, Крумель приготовил нам неожиданный подарок: тайком подобрал мне и Теодоре немного фруктов и сыра, причем сам, своими руками, сложил их в мою сумку – ту самую, кожаную, с которой я ходила на работу в Берлине.

– Это мне? – удивилась я.

– Заслужила, – ответил он.

Я отвезла подарок домой, и Герта, разбирая заботливо уложенные Крумелем свертки, не могла поверить своим глазам. Впервые за долгие годы ей удалось как следует полакомиться за ужином, и это была моя заслуга. Хотя отчасти, наверное, и заслуга Гитлера.

## 9

Августина пронеслась по узкому проходу так быстро, что подол юбки пенным гребнем волны взметнулся вокруг ее ног. Порывистым движением отбросив длинные волосы Лени, она оперлась на спинку сиденья и выпалила:

– Давай поменяемся? Один раз, только сегодня.

За окном автобуса было уже темно. Лени в замешательстве взглянула на меня, нехотя поднялась и плюхнулась на незанятое место, а Августина уселась рядом со мной.

– Я ведь не ошиблась, у тебя полная сумка еды? – спросила она.

Теперь на нас смотрели все, не только Лени: и Беата, и даже Эльфрида. Хотя нет: «одержимые», все трое, сидели впереди, сразу за водителем.

На группы мы разделились спонтанно: не по принципу внутренней приязни, как это обычно бывает, – просто внутри нашего кружка с той же неумолимой безжалостностью, с какой движутся тектонические плиты, возникли разломы и складки. В каждом взмахе ресниц Лени сквозила такая откровенная незащитность, что я не могла не взять ее под крыло. Потом Эльфрида зажала меня в туалете, и я почувствовала, что она боится – так же, как и я. Это была попытка контакта. Интимного, да: в этом верзила, наверное, не ошибся. Эльфрида ринулась в драку, как те мальчишки, что лишь после пары хороших ударов понимают, кому могут доверять, но тут вмешался охранник, и теперь у нас с ней были свои счеты, взаимный кредит телесной близости, создававший магнетическое поле.

– Так что, полная, да? Отвечай!

Теодора тоже повернулась, инстинктивно отреагировав на хриплый рев Августины.

Пару недель назад та заявила, что фюрер «думает брюхом» – им, мол, правят инстинкты.

– Да-да, голова у него работает, – подтвердила Гертруда, зажав в зубах пару шпилек и не замечая, что опровергает слова Августины. – А представьте, о скольком ему бояться докладывать! – продолжила она после того, как закрепила косу, туго скрутив ее ракушкой. – Может, он и не видит всего, но разве можно его винить?

Августина плюнула и отошла.

Теперь она сидела рядом со мной, вызывающе забросив ногу на ногу: правая туфля совсем скрылась под передним сиденьем.

– Значит, шеф-повар уже несколько дней отдает тебе излишки.

– Да.

– Отлично, мы тоже хотим.

Мы – это кто? Я не знала, что и сказать: среди девушек явно не было единства. Мы были блуждающими тектоническими плитами, то сталкивающимися, то расходящимися в разные стороны.

– Не будь эгоисткой. Ты ему нравишься, он тебе еще даст.

Я протянула ей сумку:

– На, бери.

– Нет, этого мало. Нужно еще хотя бы пару бутылок молока: у нас у всех дети, их надо кормить.

Учитывая, что нам положили жалованье гораздо выше, чем у среднего рабочего, она с легкостью могла бы позволить себе молоко. Возмутиться? «Нет, ты не понимаешь, тут речь о справедливости, – гнула бы свое Августина. – Вот дарит он тебе подарочки – а мы чем хуже? За что тебе больше, чем нам?» – «А ты попроси вон у Теодоры», – возразила бы я: мы обе знали,

что Теодора откажет, так с чего бы мне соглашаться? Я ведь ей не подруга. Но она уже почувствовала мое нежелание ссориться. Да что там говорить, она с самого начала его чувствовала.

Теперь, когда я и сама улавливала эмоции моих спутниц, а некоторые даже могла предугадать, их лица казались вовсе не такими отстраненными, как в первый день. Как вообще становятся подругами? Часто это происходит в школе, на работе или там, где людям приходится много часов проводить вместе. Выходит, подругами становятся по принуждению?

– Ладно, Августина. Завтра попробую.

Но назавтра Крумель сообщил, что его помощники вернулись и мы обе больше не нужны ему. Я объяснила это Августине и остальным, молчаливо согласившимся считать ее своей предводительницей, но Хайке с Беатой не сдавались. «Так нечестно: тебе остатки сладки, а нам шиш? У нас, между прочим, дети, а у тебя?»

У меня детей не было. Стоило заговорить об этом с мужем, как тот отнекивался: мол, сейчас не время, он ведь на фронте, разве я справлюсь? Ушел он на войну в 1940-м, через год после свадьбы. Я осталась одна в съемной квартире, обставленной мебелью с блошиного рынка, куда мы так любили ходить по субботам – даже не прицениться, а просто позавтракать в соседней пекарне плюшками с корицей или маковым рулетом, который ели, не вынимая из пакета, кусая по очереди, прямо на ходу. Я осталась одна – ни мужа, ни ребенка, только полная квартира вещей, не нужных одинокой женщине.

Немцы любят детей. Даже фюрер на парадах обязательно трепал одного-двух по щеке и призывал женщин рожать больше. А вот Грегор, пусть и хотел стать хорошим немцем, всеобщего энтузиазма не разделял: говорил, что привести человека в этот мир – значит обречь его на смерть. «Но ведь война когда-нибудь закончится», – возражала я. «Да при чем тут война, – хмурился он, – это суть самой жизни: от нее умирают». – «Совсем ты свихнулся на этом своем фронте, – ругалась я, – одна хандра на уме». А он в ответ злился.

Может, хотя бы на Рождество мне удастся его убедить? Герта и Йозеф наверняка помогут.

Вот забеременею, стану кормить ребенка под сердцем едой с гитлеровского стола. Беременные – неважные подопытные, только пусти, сорвут весь эксперимент: мало ли от чего у них колики? Но откуда эсэсовцам знать? Будет моей тайной – хотя бы до тех пор, пока не выдадут анализы или увеличившийся живот.

А если отравлюсь, умрем вместе. Или вместе выживем. Твердые кости, нежные мышцы: пища Гитлера сделает его сыном рейха даже раньше, чем моим. С другой стороны, кто из нас без греха?

– Значит, придется украсть, – твердо сказала Августина. – Ступай на кухню, отвлеки повара. Поговори с ним о Берлине, расскажи, как ходила в оперу, в общем, придумай что-нибудь. А как отвернется, хватай молоко.

– Ты с ума сошла? Я не смогу.

– Продукты не его, какая ему-то разница?

– Но это же нечестно! Он такого не заслужил!

– А мы, Роза? Мы заслужили?

Свет, падая на натертые до блеска мраморные столешницы, рассыпался мелкими бликами.

– Вот увидишь, рано или поздно Советы сдадутся, – уверенно заявил Крумель.

Мы были одни. Помощников он отослал разгружать припасы на станцию Вольфсшанце и собирался к ним присоединиться, но тут я попросила растолковать одну главу из книги, которую читала, – той самой, что дал мне он: не нашла лучшего повода его задержать. А после разъяснений (узнав, что он будет выступать в роли учителя, повар довольно потер руки) я попрошу две бутылки молока. И не важно, если Крумель их не даст, а может, даже рассердится и грубо

откажет: получить что-либо в подарок – одно дело, просить – совсем другое. И потом, зачем мне молоко? Детей у меня нет, кашу варить некому.

Крумель сел за стол, раскрыл книгу, но через пару минут разгорячился и, как обычно, заговорил о своем: о февральской катастрофе под Сталинградом, повергшей всю страну в уныние.

– Они погибли, чтобы Германия жила.

– Так говорит фюрер.

– И я ему верю. А ты?

Опасаясь за успех своего предприятия, я не стала с ним спорить, только неуверенно кивнула.

– И мы победим. – В его голосе не было и тени сомнения. – Победим, потому что мы правы.

Потом он рассказал, что Гитлер ужинает, глядя на советский флаг, захваченный в самом начале операции «Барбаросса». На примере этой комнаты он всегда показывал гостям опасность большевизма – а ведь другие страны Европы ее недооценивали. Почему они не понимали, что СССР – явление непостижимое, темное, жуткое, как корабль-призрак из оперы Вагнера? И только такой твердый человек, как фюрер, может его потопить, даже если придется гоняться за ним до самого Судного дня.

– Да, только он один и может, – заключил Крумель, взглянув на часы. – Ну, мне пора. Тебе что-нибудь нужно?

Мне нужно было свежее молоко. Молоко для детей, которые даже не были моими.

– Нет, спасибо, вы так добры. Могу я вам чем-нибудь отплатить?

– Да уж, сделай одолжение: надо почистить пару килограммов фасоли. Хотя бы начни, пока не позовут, а? Я скажу охранникам, что ты здесь.

И он оставил меня одну на кухне. Я могла бы отравить все продукты, но Крумель даже не думал об этом: я ведь пробовала пищу для Гитлера, входила в его команду, да к тому же, как и он, приехала из Берлина. Он мне доверял.

Стоя в очереди к автобусу и прижимая сумку к груди, я думала, что стеклянные бутылки вот-вот звякнут, а потому старалась придерживать их руками и двигаться как можно медленнее, хотя и не настолько, чтобы вызвать подозрения у эсэсовцев. За мной шла Эльфрида – она вечно вставала сзади. Мы с ней часто оказывались последними, не из-за лени, а из-за неспособности адаптироваться: как ни старались мы подстроиться под систему, она отторгала нас, будто две несовместимые детали, не подходящие по размеру или фактуре. Да, несовместимые, да, не подходящие. Но если строить крепость больше не из чего, сгодятся и такие.

От жаркого дыхания Эльфриды волосы на затылке встали дыбом.

– Берлиночка, ты чего застряла?

– Тихо там! – вяло прикрикнул охранник.

Я крепче прижала к себе бутылки и осторожно пошла вперед, стараясь не привлекать внимания.

– А я-то думала, ты уяснила, что здесь каждый сам за себя. – Каждый выдох Эльфриды был для меня пыткой.

Завидев нас, верзила не спеша направился навстречу. Он встал всего в паре шагов и оценивающе оглядел меня, но я продолжала идти вслед за остальными. Тогда он схватил меня за руку, вынудив опустить сумку. Я в ужасе ждала, что бутылки зазвенят, но они даже не шелохнулись: похоже, в глубине сумки им было хорошо.

– Опять милуетесь, голубушки? – Эльфрида замерла, охранник схватил и ее. – Говорил же, еще раз поймаю – не отвертитесь.

Холодное стекло прижалось к моему бедру. Стоит охраннику случайно коснуться сумки, как он сразу все поймет. Но верзила, отпустив наконец руку, обхватил двумя пальцами мою нижнюю челюсть и склонился ближе. Я задрожала, пытаюсь на ощупь найти руку Эльфриды.

– Ну-у нет, кто-то сегодня перестарался с брокколи. Отложим до другого раза, – делано захихикал он, косясь на проходящего сослуживца. Но когда тот отошел подальше, верзила продолжил: – Ладно, ладно, шучу я. Лучше как-нибудь побалуемся с вами там, внутри. Вам ведь только этого и нужно, а?

Обмен мы произвели на задних сиденьях автобуса, Августина специально принесла небольшой холщовый мешок. Меня все еще трясло, скулы свела судорога.

– А ты ничего, молодцом. И не жадная. – Ее благодарная улыбка казалась вполне искренней.

Так как, говорите, становятся подругами?

*Мы против них* – вот что предложила мне Августина. Мы, жертвы, юные женщины, которым не оставили выбора. Против них, врагов. Надзирателей. Крумель – не один из нас, вот что имела в виду Августина. Крумель – нацист. А мы никогда не были и не будем нацистками.

Все мне улыбались. Все, кроме Эльфриды: та сосредоточенно разглядывала поля и амбары за окном автобуса, в котором я каждый день проезжала восемь километров до поворота на Гросс-Парч, место моей ссылки.

## 10

Лежа в юношеской постели Грегора, я разглядывала его выцветшую фотографию, которая уже много лет была заткнута за уголок рамы зеркала над комодом: четыре-пять лет, точнее не скажешь, в фокусе только лыжные ботинки да прищуренные от яркого солнца глаза.

В Гросс-Парче меня вечно мучила бессонница: не могла заснуть, как ни старалась. В Берлине выспаться тоже удавалось далеко не всегда, слишком уж часто приходилось спускаться в кишевший крысами подвал. Герр Холлер говорил, что со временем, когда в неравной борьбе, бесславно, не оставив по себе даже памятника, падут кошки и воробьи, мы научимся есть и крыс. И это говорил Холлер, у которого от воя сирены так сводило живот, что он, оставляя за собой шлейф невыносимого зловония, вынужден был сконфуженно удаляться в угол, где стояло ведро.

Мы всегда держали под рукой тревожный чемоданчик, чтобы не тратить времени на сборы. Когда после бомбежки я поднялась в квартиру, там был настоящий потоп: похоже, взрыв повредил трубы. Стоя по колено в воде, я затащила чемодан на кровать и достала из-под вороха одежды фотоальбом – к счастью, он не успел намокнуть. Потом открыла второй, принялась перерывать мамино белье и поняла, что оно пахнет так же, как мое. Теперь, когда мама была мертва, а я еще нет, этот запах принадлежал только мне, я стала его единственной наследницей, и от этого он казался еще менее пристойным. В мамином чемодане нашла фотографию Франца, отправленная из Америки в 1938-м, через несколько месяцев после прилета; с тех пор я брата не видела. Моих снимков мама не взяла, в полной уверенности, что, если придется уехать, мы сделаем это вместе. А теперь она была мертва.

После похорон я часто забиралась в брошенные квартиры и рылась в шкафах, унося все, что могла; крада даже чашки и чайники, которые потом продала скопом на черном рынке на Александерплац, вместе с фарфоровым сервизом из маминого серванта.

Меня приютила Анна Ланганс. Мы спали в одной постели, уложив Паулину посередине. Иногда малышка даже казалась мне дочкой, которой у меня никогда не было. Ее ровное дыхание, ставшее более привычным, чем мамино, успокаивало, и я верила, что, когда Грегор вер-

нется с войны, мы починим в доме трубы, родим ребенка, а лучше двух, и они, как сейчас Паулина, будут тихонько сопеть во сне, трогательно раскрыв ротыки.

Рядом со мной Грегор казался особенно высоким. Мы с ним шли по Унтер-ден-Линден, вот только лип там больше не было, вырубил: собравшиеся поглазеть на парад люди хотели видеть, как марширует фюрер. Я едва доставала Грегору до плеча, и он всю дорогу держал меня за руку.

– Как считаешь, вся эта история с шефом и секретаршей не слишком банальна? – спросила я.

– А если я тебя уволю, мы сможем целоваться?

Я рассмеялась, а он, прислонившись к витрине какого-то магазина, обнял меня, и мой смех утонул в плотной шерсти его свитера. Потом я подняла глаза и заметила портрет у него за спиной: нечеткий ореол вокруг головы пожелтел от времени, а суровый взгляд казался враждебным: изгонял торгующих из храма, не иначе. Мы целовались прямо у него на глазах. Так Адольф Гитлер благословил нашу любовь.

Открыв ящик комода, я достала письма Грегора и перечитала их все, одно за другим, представляя, что слышу его голос, что он здесь, рядом. Зачеркнутые числа в календаре подтвердили: да, совсем скоро все так и будет.

В то утро он уже собирался уходить, но запнулся, увидев, что я стою на пороге спальни, прислонясь к дверному косяку: «Что?» Я не ответила.

До встречи с ним я не знала счастья, даже и подумать не могла, что оно может мне улыбнуться. Эти круги под глазами казались мне знаком свыше. И вдруг оно пришло, мое счастье, такое яркое, насыщенное, мое личное счастье, и Грегор дал мне его, словно это было проще простого, словно он появился на свет только для этого.

Но со временем Грегор отказался от своей цели: нашлась другая, поважнее. «Я скоро вернусь», – сказал он, проведя пальцем по моему виску, щеке, губам, попытавшись, как прежде, просунуть его мне в рот в молчаливом призыве: доверься мне, как я доверяюсь тебе, люби меня, как я люблю тебя, займись любовью со мной, – но я стиснула зубы, и он отвел руку.

Я представила, как он бежит по окопу, оставляя в воздухе морозные облачка пара. «Теперь их двое, не понимавших, насколько холодно в России. Первый – Наполеон», – писал муж, из врожденной осторожности не упомянув второго. Когда я расспрашивала его о боях, он отнекивался, ссылаясь на военную тайну: скорее всего, то был предлог – ему не хотелось меня пугать. Может, как раз сейчас он, зажав коленями банку консервов, ужинает у костра в окружении сослуживцев в непомерно широких шинелях: все они здорово похудели. Но я знала, что Грегор не станет жаловаться, чтобы не быть в тягость товарищам. Он должен был показать себя по-настоящему сильным, стать примером для остальных, вести их за собой.

Поначалу он писал, что боится спать в окружении малознакомых вооруженных людей: любой из них мог его застрелить в любую секунду – достаточно пустячной карточной ссоры, ночного кошмара или недопонимания во время марш-броска. Грегор не доверял им, он доверял только мне, но вскоре узнал их поближе, полюбил и потом долго стыдился своего первого впечатления.

Был там один художник, потерявший на фронте фаланги двух пальцев и не знавший теперь, сможет ли когда-нибудь рисовать, – тот одинаково ненавидел и нацистов, и евреев. Хотя нет, нацистов сильнее: на евреев ему было плевать, и он был уверен, что Гитлеру тоже. Он утверждал, что Берлин бомбить не будут: фюрер этого не допустит. Вскоре бомба попала в дом моих родителей, и его мнения на этот счет никто не спросил. «Гитлер все рассчитал», – вещал сослуживец; муж вынужден был слушать, потому что они делили палатку, а на войне,

как он говорил, это все равно что быть единым организмом. Все они ощущали себя единым организмом, бесконечным рядом отражений. Именно они, а вовсе не я, были тогда плотью от его плоти.

Был еще Рейнхард, боявшийся всего, даже вшей: он цеплялся за Грегора, как за мамкину юбку, хотя был моложе всего года на три, – я окрестила его сосунком. В последнем письме, пришедшем в Берлин, Грегор писал, что дерьмо – доказательство того, что Бога не существует. Он любил сказать что-нибудь этакое, провокационное, и все в нашей конторе об этом знали, но раньше он не говорил ничего подобного. «Здесь у нас вечная диарея, – писал он, – от еды, от холода, от страха». Рейнхард как-то обделался прямо на посту: разводящий не заметил, но для него самого это, конечно, было ужасно унижительно.

«Допустим, человек действительно был создан Богом, – продолжал муж. – Но разве можно поверить, будто Бог придумал такую вульгарную штуку, как дерьмо? Неужели он не нашел бы другой конструкции, без выталкивания наружу остатков пищеварения? Дерьмо настолько дерьмово, что Бог – извращенец или же его просто нет».

Фюрер, со своей стороны, тоже боролся с пищеварением и однажды пожаловался Крумелю: хотя предложенный поваром рацион был предельно безопасным, вождю все-таки пришлось прибегнуть к «Мутафлору», спешно выписанному профессором Мореллем. Правда, в последнее время даже он, личный врач, уже не знал, чем помочь. Дело дошло до противовоспалительных пилюль, причем пациент принимал их по шестнадцать штук на дню: разработав сложную систему, чтобы избежать подброшенного врагами яда, Гитлер как-то умудрился отравиться сам.

«Не стоило, наверное, все это тебе рассказывать, но я люблю посплетничать, – усмехался Крумель. – Ты ведь умеешь держать язык за зубами?»

После обеда я вернулась на кухню, чтобы дочистить фасоль. Теодора предложила помочь: она уже считала кухню своей, и ее бесила мысль, что зовут только меня. «Нет, спасибо», – сказала я, а Крумель был слишком занят, чтобы уделить ей минутку.

Потом он ушел на станцию и снова оставил меня одну.

Я тихонько поднялась со стула, стараясь, чтобы он не скрипнул, прокралась к холодильнику (даже самый слабый звук мог привлечь охранников) и достала две бутылки молока. Пальцы защипало от холода, но все же я была довольна своей смелостью. Может, Крумель заметит, что недостает двух, точнее, уже четырех бутылок. А может – и мне хотелось бы в это верить, – не заметит. Разумеется, каждая крошка была на счету: он ведь составлял огромные списки поступлений и расходов. Но с чего бы ему валить на меня? Это вполне мог быть кто-то из его помощников.

Едва я встала в очередь, верзила широкими шагами двинулся мне навстречу и с ходу распахнул мою сумку, без всяких театральных жестов – просто щелкнул замочком, и оттуда выглянули горлышки бутылок. Верзила обернулся к Теодоре, та кивнула:

– Я же говорила!

– Тихо! Ни звука! – огрызнулся он.

Остальные девушки, начавшие было шушукаться, встревоженно замолчали. Одного из охранников послали за шеф-поваром в Вольфшанце, а мы тем временем ждали, стоя в коридоре. Пришедший вскоре Крумель показался мне еще более хрупким и изможденным.

– Это я ей дал, – заявил он с порога; у меня сразу свело живот, не так, как толкается ребенок в утробе, а так, как шутит Бог-извращенец. – Небольшая компенсация за работу на кухне. Насколько я знаю, Розе Зауэр платят только за пробование пищи, и я считал справедливым вознаградить ее еще и потому, что она продолжила работать даже после того, как вернулись мои помощники. Надеюсь, с этим не будет проблем.



Вот так неожиданность. Похоже, никому ничего не достается заслуженно. Даже мне.

– Никаких проблем, раз вы так решили. Только в следующий раз предупреждайте. – Верзила мрачно обернулся к Теодоре; та бросила на меня презрительный взгляд: мол, не извинюсь, даже и не думай.

– Кончай уже с ней, – велел другой эсэсовец. (Что он имел в виду? Кончай подкармливать Розу Зауэр? Кончай шпионить за Розой Зауэр? Или, может: бога ради, Роза Зауэр, кончай уже трястись, а?) – Пошли, марш, марш!

У меня горели уши, слезы застилали глаза. Сперва я пыталась утирать их, но они все не иссыкали, как вода в артезианской скважине, и я решила попросту не моргать: пусть себе текут потихоньку, пока не высохнут, лишь бы в автобусе никто не увидел.

На этот раз Августина не стала доставать свой холщовый мешок и даже не посмотрела в мою сторону, так что бутылки доехали со мной до самого поворота. Когда автобус пошел дальше, я вылила молоко прямо на землю. Ненужная, бессмысленная вещь: оно ведь предназначалось для их детей. Хотя нет, для Гитлера. Разве могла я тратить понапрасну такую восхитительную смесь кальция, железа, витаминов, белков, сахаров и аминокислот? Молочный жир не похож на другие жиры, говорилось в выданной Крумелем книжке, он легче усваивается, и организм сразу же приступает к его расщеплению. Я могла бы спрятать бутылки в холодный погреб, а потом пригласить Августину, Хайке и Беату: «Вот молоко для ваших детей, Петера, Урсулы, Матиаса, даже близнецам хватит. Это последние два литра, жаль, конечно, что трюк не сработал, но оно того стоило». Напоила бы их на кухне чаем. Как вы стали подругами? Знаете, они попросили меня кое-что украсть.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.